

ПАМЯТНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Андрей
ПЛАТОНОВ

РАССКАЗЫ
ТОМ 1



im WERDEN-VERLAG
МОСКВА - AUGSBURG 2002

СОДЕРЖАНИЕ

ОЧЕРЕДНОЙ	3
ВОЛЧЕК.....	4
СЕРЕГА И Я	6
ВОЛЫ	8
ЗАПИСИ ПОТОМКА	
Память	10
Иван Митрич	12
Чульдик и Епишка	13
Поп	14
Мавра Кузьминична	16
Экономик Магов	16
Цыганский мерин	17
ИЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОЧИНЕНИЯ	
Демьян Фомич — мастер кожаного ходового устройства	19
Крюйс	22
Душевная ночь	24
История иерея Прокопия Жабрина	26
Луговые мастера	27
ДУША ЧЕЛОВЕКА — НЕПРИЛИЧНОЕ ЖИВОТНОЕ	30
ЗАМЕТКИ	
В полях	31
Бог человека	32
ЕРИК	33
ТЮТЕНЬ, ВИТЮТЕНЬ И ПРОТЕГАЛЕН	34
ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАКЛАЖАНОВА	37
ПОТОМКИ СОЛНЦА	39

Текст печатается по изданию:

Андрей Платонов. Собрание сочинений в пяти томах. М. Информпечать. 1998. Том 1. Стр. 87-145

© «Im-Werden-Verlag», 2002

<http://www.imwerden.de>

info@imwerden.de

ОЧЕРЕДНОЙ

Третий свисток... Я вхожу в ворота завода, прохожу мимо контрольной будки и иду по огромному заводскому двору в свою «первую», как нумеровалась наша литейная. Асфальтовая дорожка бежит и вьется вокруг выступов и стен колоссальных зданий, где — я слышу — уже начал биться ровным темпом мощный пульс покорных машин.

В мастерскую вхожу почти радостный, — ведь сейчас она оживет, задрожит, загремит — и пойдет игра до вечера...

Здоровуюсь с товарищами по работе и усаживаюсь на железной плите пола и спуска к вагранной печи. Закуриваем — иначе нельзя — перед работой и после нее, пред уходом, это делается всегда и всеми. Рука почти автоматически вертит бумагу; не спеша делимся табаком...

Засыпаем в печи металл. Пускаем электромоторы, открываем нефть. И — гаснет солнце за высокими окнами, забывается все... Клубы желто-зеленого чада вихрями рвутся из печей от плавящегося металла. Газ лезет в глаза, горчит рот, тяготит душу...

Содрогаются высокие подпотолочные балки, пляшут полы и стены, ревет пламя под бешеным напором струй нефтяной пыли и воздуха... Неумолимо и насмешливо гудит двигатель; коварно щелкают бесконечные ремни...

Что-то свистит и смеется; что-то запертое, сильное, зверски беспощадное хочет воли — и не вырвется, и воет, и визжит, и яростно бьется, и вихрится в одиночестве и бесконечной злобе... И молит, и угрожает, и снова сотрясает неустоящими мускулами хитросплетенные узлы камня, железа и меди...

Бьются горячие пульсы дружных машин; мелькая швами, вьются змеи — ремни.

— Илюш, а Илюш! Ты б слазил, глянул, что там за штука такая. Намеднись ты как ловко насос проноровил... — Обращаются ко мне.

Перед самым спуском уже готового металла в тигли неожиданно застопорил мотор, и монотонно гудящая печь смолкла, накаленные стенки потемнели.

Я иногда исправлял небольшие поломки в машинах, избегая тем необходимости звать монтера. Так это было неделю назад с насосом, подающим воздух. Я сначала хотел отказаться, но, подбадриваемый, взял ящик с инструментом и полез по лестнице к электродвигателю, подвешенному к стене.

Неисправность была пустяковая, и я ее быстро обнаружил. Снизу дали ток — и мертвый мотор ожил, завыл и захлопал приводным ремнем.

И вновь полился поток пламени на распростертый в печах металл.

За звенящими побитыми стеклами окон полуденное солнце омывало землю, и на секунду у меня мучительно сжалось сердце и страстно захотелось в поле — к птицам, цветам, шуршащей травке; в поле — где я, когда был без работы, бродил, утопая в зелени, тянущейся к небу, к жизни, к весеннему неокрепшему солнцу, к тем вон бегущим вольным бродяжкам-облакам...

Льется жидкий металл, фыркает и шипит, ослепляя нестерпимо, ярче солнца. Осторожно и внимательно стоим мы вокруг наполняющегося несгораемого горшка. Потом сразу хватаем вдвоем за длинные штоки и бегом несем искрящееся литье в соседнюю мастерскую, где выливаем металл в приготовленные формы.

Когда опорожним всю печь, вновь наполняем ее болванками корявой пузырчатой меди и ждем, покуривая и регулируя нефть.

Около нашей печи работали трое — Игнат, старый рабочий, почти ослепший от блеска литья, с постоянно гноющимися, налитыми кровью глазами, и двое нас, новичков, я и Ваня, только недавно поступивших на завод. Мы работали весело, и день пролетал незаметно. Полуголые, мы хохотали и обливались водой, рассказывали, думали — и слушали нескончаемую, глухую, связавшую начало с концом песнь машин...

— И, скажи ты мне на милость, что это огонь не залаживается: чихает — и шабаш!.. — Игнат, наш «старшой», был недоволен и ворчал. После обеда, в печи, действительно, что-то стало часто пофыркивать и клубы вонючего дыма были гуще, чем обыкновенно.

— Ну-ну, стерва, ну-ну, растяпа, черт, поговори у меня, поговори! — Игнат подвигивал нефти и подбадривал фыркающее пламя. Внутри печи теперь уже раздавались целые взрывы и странное поплескивание; металл нагревался плохо.

Что-то не ладилось. Я подошел, не зная зачем, к мотору, посмотрел на измеритель числа оборотов и прислушался. Машина работала чудесно.

Обернувшись, чтобы уходить, я на мгновение увидел белый огненный бич, рванувшийся высоко из нашей печи. Глухой удар ухнул и повторился раза четыре под сводами крыши мастерской, взмахивая вверх свистящими полосами огня и тяжело опуская их вокруг...

Я стоял у мотора, шагах в десяти от печи и видел, как метнулся куда-то Ваня, как присел, обхватив голову, Игнат...

Инстинктивно я схватил рукоятку и прервал ток. Мотор, повертевшись немного по инерции, остановился.

Упавшие бичи раскаленного металла расходились по радиусам от печи и еще шипели, медленно охлаждаясь, испуская свою страшную силу. Как гады, побеждающие и свободные, они дерзко и вызывающе раскинулись на железном полу во властных изгибах, оставляя на черном далеком потолке и балках беловатые отсветы — свои отражения. В ужасе столпились люди. Странное, необычное безмолвие перекачивалось по заводу из мастерской в мастерскую. Где-то далеко мерно пульсировали машины.

— Погубили, окаянные, — вздыхал кто-то из толпы рабочих, — ах, мучители треклятые... Им, проклятым, деньги дорога, так они заместо нефти хотят, чтоб вода горела. Напустили воды в бак — и ладно....

Я догадался обо всем. Вода, попав с нефтью в печь на жидкое литье, превратилась мгновенно в пар, который разорвал печь и выкинул вон расплавленный металл...

Ваня лежал на полу вниз лицом, двигал ногами и руками и грыз зубами железные узоры. Белый бич попал на его спину и скоро — скорее, чем на полу — остыл на ней. Спина Вани была похожа на шлак, что выбрасывают из топок паровых котлов.

Рабочие стояли молча; за окнами потемнело.

Судороги в пальцах руки Вани быстро замирали; ноги уперлись неподвижно носками в пол, выставив обугленные пятки.

Старый Игнат был подле и плакал, вытирая невидящие глаза тряпками, которыми он обмотал свои сваренные руки.

Через полчаса все машины были пущены, печи заправлены. Послушные моторы, воя, отдавали свою силу. Ремни, соединенные в концах своих с началом, змеясь и щелкая, бежали, бежали...

Склонившееся послеполуденное солнце равнодушно уперлось лучами в тяжко изогнутые хребты трепещущих машин.

ВОЛЧЕК

Был двор на краю города. И на дворе два домика — флигелями. На улицу выходили ворота и забор с подпорками. Тут я жил. Ходил домой я через забор. Ворота и калитка всегда были на запоре, и я к тому привык. Даже когда лезешь через забор, посидишь на нем секунду-две, оттуда видней видно поле, дорогу и еще что-то далекое, темное, как тихий низкий туман. А потом рухнешься сразу на землю в лопухи и репейники и пойдешь себе.

Выйдет навстречу не спеша — знает, что это я — Волчек, поглядит кроткими человеческими глазами и подумает что-то.

Я тоже всегда долго глядел на него, в нем каждый раз было другое, чем утром.

Раз шел я по двору и увидел, что Волчек спит в траве. Я тихо подошел и стал. Рыжий Волчек чуть посапывал и ноздрями на земле выдувал чистоту. По шерсти у него пробиралась попова собака.

Кругом было тихое неяркое утро. Солнце приподнималось в теплом тумане, который все рассеивался и рассеивался и сжимался в голубой высоте в облака.

Далеко выл у запертого семафора паровоз и звонили колокола по церквам. Репьи стояли тонко и прямо, ни ветра, шума, ни ребятишек не было.

Волчек проснулся и не двинулся, а лежал как лежал с открытыми глазами, глядел в темную сырость под лопухи.

Я наклонился и притих. Волчек, должно быть, не знал, что он собака. Он жил и думал, как и все люди, и эта жизнь его и радовала и угнетала. Он, как и я, ничего не мог понять и не мог отдохнуть от думы и жизни. Во сне тоже была жизнь, только она там вся корчилась, выворачивалась, пугала и была светлее, прекраснее и неуловимее на черной стене мрака и тайны.

Спереди, пред ним и предо мной, все радуется и светится, а сзади стоит и не проходит чернота, и в снах она виднее, а днем она дальше и про нее забываешь.

Волчка давил виденный сон. В нем он тоже видел эти лопухи и сырую тьму по корням, но там они были и такие и не такие. И вот он опять смотрел и не мог ничего понять.

На дворе была еще собака Чайка. И когда были собачьи свадьбы, собаки бесились, гонялись за Чайкой, один Волчек был такой же, как всегда, и не грызся из-за Чайки.

Хозяин думал, что он больной, и давал ему больше костей и шей после ужина. Но Волчек был великан и совсем здоров.

Чужих ребят, какие приходили играть на двор, он не хватал за пылки, а бил оземь хвостом и глядел с уважением и кротостью.

Я Волчка за собаку не считал, за то и он полюбил меня, как любит меня мать.

Я тоже ничего не знал и не понимал и видел в снах тихое бледное видение жизни. Смутные облака трепетали в небе, и ветер гнул целые дубы, как хворостины, а я стоял в каком-то саду и не слышал, как шумел ветер, и сразу удивился и понял, что это сон, и проснулся.

Было полнолуние, и в комнате бледный свет лежал на полу. Я потянулся и попробовал рукой холодные доски.

Раз я спросил у отца, который любил меня и жалел, как маленького, не знает ли он чего, чего еще никто не знает и про что и в книгах не написано. Он сказал, нет, я все думаю про Бога, но его тоже не могу узнать.

А на другой день за обедом досказал: оттого мы ничего не знаем, что и узнавать, должно, нечего. А тебе к чему нужно знать?

А я сказал — да, а жить-то как же? А узнавать есть чего, хоть бы то, отчего мы хотим знать все, если и узнавать нечего, все живет само собой в черноте и пустоте. Отчего кругом томление и борьба? Вот мы прожили немного после революции и уж увидели, как легко устроить всех сытыми и довольными, лишь бы осталась у нас власть нас самих. Но нам захотелось знать, и не нам одним.

Отец помолчал и перестал есть. Я всю жизнь — сказал он вечером — работал, кормил вас и одевал, не мог никогда не думать, а теперь привык. Теперь жизнь другая, и я все растерял. Но я люблю тебя, и ты, может, выйдешь на большую дорогу, тогда делай, что хочешь, а я не могу, я уморился и сидя сплю. Я только жду хорошего, а какое оно, не могу узнать. Всю жизнь я ждал чего-то хорошего и тебе отдаю эту надежду.

На другой день я так же лез с работы через забор и Волчек встретил меня любящими глазами, и в пустых водяных его глазах сидела мертвая сосущая мысль, как каменная гора на дороге домой.

Чайка юлила под ногами, а Волчек молча стоял вдалеке и смотрел. Ему оставалось одно — либо издохнуть, либо дожидаться первой собачьей свадьбы и схватиться с другими кобелями из-за Чайки. Но Волчек оставался посредине и раздумывал. Тут была его худшая гибель, и он видел сны, пугался и жил хуже мертвого.

— Волчек, Волчек, Волчек... — Я прошептал это и погладил его. Он прижмурился и заблестел глазами. На миг он ожил и понял, что я жалею и люблю его, как меня жалеет отец. Может, он и глазами заблестел оттого, что понял мою жалость и любовь, взял знание, и в первый раз сзади сияния жизни не было черноты и угнетения.

— Волчек, Волчек...

Волчек от радости подметал хвостом и повизгивал. Отчего раньше я не догадывался гладить и обнимать его? Нет, тогда бы он понял мой обман и потерял свое первое верное знание, что есть любовь в жизни и сочувствие.

Волчек вертанул шеей, и я увидел, какая у него не собачья, почти человеческая круглая задумчивая голова. Глаза стояли и вглядывались. Он живет не лучше меня.

В этот вечер я пошел по улицам. Белые городские дома в синей луне стояли и глядели окнами на тихо гуляющих людей. Томление и раздумье было во всех.

Кто не любил, тот хотел любви. И никто ничего не знал, зачем это.

Я встретил Маню, в которую был немного влюблен. С ней шел человек с добрым и счастливым лицом.

— Это Витя, — сказала Маня.

И я пошел рядом. Во мне поднялась тоска. Я чувствовал, как горело мое тело. Но в голове было ясно и хорошо. Я смеялся в мысли и мучал себя. Я знал, отчего во мне тоска и отчего вечер кажется задумчивым любящим далеким существом, прилегшим на землю. Я знал и смеялся. Знал, что все не такое, как кажется. И вот вечер, и эта Маня, не задумчивые полюбившие существа, а другое, что я еще не знаю. И по истинной сущности все это, наверно, ничтожно, жалко и гадко.

Если бы созналось это всеми, то увидели бы, что не любить надо, а ненавидеть и уходить дальше, начинать перестраивать все сначала.

Отчего все ходят по земле, и никто не знает, что она такое?

На другой день я на работу не пошел, а ушел скитаться в поле. А там лег в рожь и думал до вечера, где найти настоящих людей, которые все знают. Где лежат настоящие книги?

Сам я ни о чем не мог догадаться и что узнавал, в том сомневался и начинал опять сначала. А жить и не знать — так и Волчек не мог. Я должен ясно увидеть все до конца и быть уверенным и твердым в жизни.

Раньше никому не нужно было знание, потому что нужен был хлеб и размножение людей. Благо было в полном удовлетворении тела. Теперь благо в истине, только это одно я узнал в тот день и пошел счастливый домой.

На дворе я лег в траву и стал глядеть в землю — пыль, песчинки, дохлая мошка и муравьиные дороги.

СЕРЕГА И Я

Мы шли с работы. Около домов на камне лежал белый холодный свет вечеряющего дня. И солнце было низко; оно рано уходило за кирпичные трубы кочегарок, эти угрожающие пальцы земли. Начиналась тихая сонная осень. Ветер дул реже и не был так жесток, как раскаленным ноющим летом. Небо побелело и стало ближе и ясней, будто опустило глаза к человеку.

Каждую прожитую осень я помнил с детства, и всегда она была такая же, как теперь. Белое небо, белая земля, пустой безголосый простор без конца и холодно.

По мостовой гремят телеги и ломовые на них спят, только передний дремлет и посматривает и махает без толку кнутовищем.

Мы дошли до слободы, где жили, и увидели поле. Там никого не было, и лес был не за семь верст, а прямо против нас. Он стоял и смотрел на жнивье, на каменный город и на нас. В стороне от леса на песчаном обдутом кургане стоял какой-то человек и будто всматривался в далекий город. Он стоял и не шевелился. Может быть, это была палка или забытое исклеванное вороньем чучело на бахчах. А я думал и знал, что там человек.

Старый Волчек встретил нас и обрадовался. Умные незвериные глаза ласкались и любили. Я как родился, помнил его. Волчек хорошо чуял это и на мой голос отзывался криком не по-собачьи.

Мой товарищ Сафронов пошел в свой переулочек. Он знал и видел то же, что и я.

Нам обоим надоело вставать по гудку, и мы собирались бежать на Дон в кусты жить рыбаками. Мне больше хотелось уйти в пастухи, но и рыбаком быть хорошо, и я согласился.

До поры до времени мы молчали и таили в себе эту единственную нашу радость.

— Эх, хорошо бы, — говорил я.

— Хорошо, — откликнулся Сафронов.

— Ладно, штоль?

— Ладно.

И на том мы кончали.

Мастерская давила и ела наши души. Люди там делались злыми.

Цельный день мы таскали носилки со стружками и мусором, а то лодырничали, уходили в траву на задний двор и не боялись никого: все-равно навеки уйдем скоро отсюда.

— Эх, Серега, Серега... — Ни к чему говорил я от тоски и тихой радости скорого спасения.

— Да, Андрюх, будет нам жисть и не сказывай... Вон, вить, што, как оборотилось дело-то...

Серега Сафронов был умен и рассудителен, как большой мужик. Он был из деревни, а я городской. Во всех людях он видел мастеров в десятников, а я — не знаю кого, только боялся их.

И мы сошлись душа в душу, без него я пропал бы, а может быть, и он без меня. Не узнали, а почували мы это и полюбили друг друга и слепились, как два щенка на льдине.

Сафронов ушел и не оглянулся. Я постоял, постоял, посмотрел, как темнеет и тихнет все, пропадают поля, и пошел домой.

Дома я зажег лампу и взял любимую книжку. Листнул ее и прочел: в селе за рекою потух огонек — Мать спала. Волчек гавкал на дворе и жужжали под потолком издыхающие мухи.

Я увидел лето и большую белую ослепляющую реку в синих лучах. На песке, на том боку, засыпает соломенная деревня и брешут собаки, и нигде — никого. Только глядит в темное небо оттуда чей-то поздний огонь из окна. Должно, лампадка. Зудит мошкара над головой, и еще тише.

Тухнет огонь, будто его и не было. И не найдешь глазами, где была деревня. Обрадовалась и загудела мошкара — и сразу пропала. Один остался комарик и звенит как за две версты, а он на носу. Маленький и живой. Я мал и один, тихо и темно. Но сразу может кто-то показаться, ударить, загреметь и все осветить. И увидишь не то, что видно днем, а другое, и кто-то посмотрит оттуда на тебя, улыбнется и скроется.

А утром будут те же луга, поля, солома, деревня и плетни. И солнце ползет и чешет пашни. И я увижу, что здесь родился, и никуда не пойду.

Волчек ныл у сенец. Ветер шарахался в ставни. Мухи притихли на потолке, мать проснулась и глядела на меня.

Я задремал на столе и увидел счастливый сон, а утром забыл его и не мог рассказать.

На другой день мы с Серегой работать не пошли. А пошли в поле, куда подальше. Там мы залегли в песчаном логоу и стали думать каждый про свое.

Солнце туго лезло по верху, выдирало из земли последнюю травку и растекалось по прохладному белому небу.

Сейчас ребята таскают там носилки. Долго еще до вечера, подумал я, и мне стало нехорошо на душе.

— Серег, а Серег? — позвал я.

— Ну — што?

— В селе за рекою потух огонек...

— Игде?

— Вечером на том боку в деревне...

— Нук штож.

Мы лежали на земле, как на теплой ладони. Осыпался песок и за шею поналезли муравьи. Парило будто весной. Мы поняли, что лежим прямо против неба и что мы живы. Я прижался к земле и почуял, как лечу вместе с ней и люблю.

Песок перестал ссыпаться, и ветер совсем стих. Я махнул рукою — ничего не было надо мною. Серега переобувался и слушал... Я схватился за траву и испугался. Мне подумалось, что я падаю, и я замер и прижался. Песок был горяч и крепок, и я отошел.

— Тут ведь земля не такая как у нас, — сказал я Сереге тихо, чтобы он ничего не узнал.

— Тут не земля, а песок.

На дороге пыль закрутилась столбом.

— Пошли штоль?

— Пойдем.

Мы тронулись к городу. Ветер стегал песком и завывал в стоячих сухих палках от подсолнухов. И откуда он взялся? Ничего не было...

— Сереж, Сережа... Когда ж на Дон скроемся? В селе за рекою потух огонек...

— Обожди. Надобно всех ребят с мастерской взять. Что ж они-то? Всеми тогда уже и тронемся оттуда, пропади она пропадом.

— А пойдут они с нами?

— Да обеспека, а то как же...

— Ну, пойдём, мне тоже их жалко. Мы одни што!.. Навстречу ехали мужики с базара, знакомые ребята прокатывались сзади, а потом пристали к нам.

— Знаешь што, Сереж? Пойдем к нам домой, я тебе книжку прочту, там складные стихи.

ВОЛЫ

За криндачевскими рудниками стоит богатая станица, не станица, а хлебный колодезь.

А под старыми казачьими степями, по которым уходил когда-то с сыновьями Тарас Бульба в Запорожскую Сечь, лежит уже тысячи веков жир земли — тугой плотный уголь, каменная сила. Лежит и полеживает.

Вверху в белых мазанках живут потомки запорожцев и уже забывают про турецкого султана, только развешаны в горницах кривые старые сабли и на ножнах темнеет древний серебряный узор.

Старики еще помнят старинные заунывные песни похода со свистом про турецкую нечисть и про шляха. И, когда с Москвы шли большевики, то они пророчили, что обернулись турки с другой стороны и опять идут на православие.

Старики приказывали сесть на коней всей молодежи и, как допреж, отстоять святую веру, жен и весь свой тихий Божий народ. — Ляжем всеми, сынки, за Божий крест на наших степях, — говорили на сходах усатые деды.

Но сорокалетние сынки помалкивали и в томлении глядели за станицу в вечерюющие просторы. Они знали, что такое война, а креста не чужали так, как отцы, им больше хотелось овец и волов, каменный дом, ухватливую хозяйку.

И хоть грех в церковь не ходить, но и жить в бедности и разорении, стегать на коне по степи — не модель.

Отрываться от любимого двора, хозяйства, от родной станицы, бросать жену и все, чем живешь и что любишь, — не лежит к тому душа, что ни говори старики.

С рудников по праздникам приходят кацапы до казачек; не крестились у храма и грозили спьяна лавочникам большевиками. Черные и чужие, они бродили до утра по станице.

Бросай, Ванька, водку пить.
Пойдем на работу.
Будем деньги получать
Каждую субботу.

Пришел Деникин, сгреб хлеб и волов, повесил троих шахтеров и слился на Москву.

Помутилась душа и у старых казаков. Еще тише и любимей стали дворы и амбары, и на жен кричать стали реже.

— Где же вона, правда Божия? Знать, и у тех, кто с крестом, ее нету. И из креста глядит антихристово харя...

Перестали ходить кацапы с рудника, пропали, как один.

— Пусть и не вертаются, бисовы дети, от них борщ кислый, голодранцы лапотные. — Так брехали старые бабы.

Казачки ухмылялись: Бог жабе хвоста не дал, чтоб травы не толочила. А ум бабий, что хвост жабий.

Ветром пронеслись назад генералы, отняли всех волов, оставили только кому пару, кому две и пропали к Черноморью.

Пропылили не спеша последний раз родные волы и пропали навек.

Много ушло с генералами молодежи и стариков. Остались только у кого помутилась душа и кто потерял концы привычной правды или пожалел степь и хозяйство.

Пришли большевики. К деду Антону Карпычу без спроса и без разговору ввалился в хату молодой веселый человек в кожаном картузе и лба не перекрестил.

— Здорово, станичник!

— Здоров будь.

— Далеко белые?

— А кто же за ними гнался?

— Покурить можно?

— Твоя ж воля.

— Так. А ты не обижайся, старина, покурю и уйду. Трогать не будем, не до вас пришли, живите себе.

Посидел, посидел веселый кожаный картуз, засмеялся и пошел.

— Прощай.

— С Богом, сынок! — И повеселел старик: люди ж и они. Под вечером, как начали сниматься большевики, вынес сала ломоть и дал какой-то красной звезде.

— Спасибо, отец! Свидимся еще.

— А как же? Да вот волов свели, плешь их башке, пшеницу тоже посвезли.

— Ничего, ничего, сработаем еще, наживем. Теперь дело видней. Всем плохо, перетерпим. Старик зашел в кучу солдат, осматривался и слушал.

— Так не ждать их?

— Как хошь, хоть жди, да не дождешься.

— А вы не турецкой будете породы? Крест-то носите?

— Крест сжечь надо, на нем Христа распяли. А породы мы все одной. Это они крест всем несут, а мы крест со своей спины снять хотим, чтоб жилось легче.

— Так-так... — Старик понял все слова и пошел домой обдумывать.

Ушли и большевики. У соседа Родионыча остались нетронутыми две пары волов. Он приходил каждый вечер к Антону Карпычу и радовался, и клял.

— А? Ведь хозяин еще я, Карпыч, а? Как скажешь? Может, не воротится фронт Николы. И степь и волы — наши, и хаты целы, и хлебом до лета натянем... И крестов с церковей не посшибали, брехня одна была.

Карпыч думал и думал, где истинный бес, где печатано клеймо его?

Не там ли, где волы его? Не крест ли печать бесова... Не можно никак молиться тому, на чем замучили Христа, как же этого никто не узнал?

Он вспомнил веселого хлопца в кожаном картузе. Не бес же он, и клеймо на нем небесное — звезда.

Карпыч уснул и увидел во сне, будто тихо бредут по степи его волы домой с Черноморья.

ЗАПИСКИ ПОТОМКА

Память

Издrevле и повсесюдно все старики спят. Спят так, что пузыри от уст отскакивают и одиноко мокнет позабытая в бороде сопля.

Жизнь человека в смерть переходит через сон. Большое счастье и долгая жизнь тушатся непряметно, без вскрика и боли, как вечерний откат света от земли.

Я мальчиком видел старика Василь Иваныча, он засыпал с несвернутой цыгаркой на пальце.

Начнет вертеть бумажную посуду для обычной порции в полосьмушки, но эта привычная работа выгонит из Василия Иваныча его душу вместо замороженной скребущейся мысли, он глянет на вывеску, где написано:

АПТЕКА

и закроет глаза; потом опять откроет их, по-чугунному остановится на вывеске, но уже не видит аптеку и опустит веки, как щеколду запрет на затвердевшем сердце, аж под веками у него запенится.

Сладки, должно быть, предсмертные сны!

Потом Василий Иванович начинал приседать; засыпал он стоя, закуривая, мочась, глядя на запекающийся вечерний закат или разжеывая огурец — все едино. Медленно полз он поясницей к земле, не спеша гнулся его хребтовик — вот-вот сломается, — пока не доставал Василий Иванович самым кончиком своего отошалога зада головки травинки, тогда его травинка щекоткой подбрасывала кверху, и Василий Иванович опять читал:

АПТЕКА

а через миг опять в квас скисалась его кровь и он полз к земле, как тесто из горшка.

* * *

Но Никанор был не тот. Василий Иванович был гора-мужик, а Никанор — так: гнусь одна, загло баритон и глупый человек. Если за забором его посадить и сказать: — Проревы, Никанор, — за Никанора полтинник дадут не глядя, а в действительности на нем ни одни штаны не держались. Никанор шил их не иначе, как по особому заказу у своего друга и в то же время знаменитого песнопевца — Иоанна Мамашина.

Мамашину однажды хорошей плюхой один мастеровой сделал из двух скул одну — на острый угол. В другой раз этот же боец и хирург сделал из Мамашиной хари опять благоприятный лик. В третьем свирепом и долгом побоище Чижевки и Ямской печник Гаврюша хотел двинуть Иоанна Мамашина в ушняк, но попал по какой-то дыхательной щели, и Иоанн заорал, как архангел.

Так Гаврюша сделал Мамашину голос из обыкновенной глотки. И с той поры Мамашин переменял вывеску над своим заведением.

Нанял Автонома-маляра и женского хирурга — и продиктовал ему такого сорта слова:

ИОАН ДАНИЛОВИЧ МАМАШИН
брючный сюртучный и еlegantный
ПОРТНОЙ
а также песнопевец
и принимаю заказы
на апостола и протчи
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ БДЕНИЯ

— Длиннота чертова! — сказал живописец-Автоном, получив сей текст.

— А ты его нарисуй — помудрей как-нибудь, а конец по-божественному обведи, — напутствовал Автонома Иоанн.

— Смозгую уж, будет и божественно и чудно, — сказал Автоном и зачмокал по грязи в дом свой к жене своей Автономихе и к детям своим.

И вот по вечерам, когда Иоанн обметывал петли, его мамаша, копаясь в каких-нибудь ветошках, просила:

— Поори, Ванюшка.

И Иоанн, так после убедительной вывески его именовала вся улица, орал. Голос получился после гаврюшкиной операции, и правда, хороший, ласковый, громадный и неумолкаемый. Будто кто-то большой и теплый поднимает высоко тебя, держит, жмет и плачет на ухо.

После работы останавливались у открытого окна мастеровые и просили:

— Двинь, Ванил Данилыч!

— Ляп-тяп-тяп-ни, дорогой, чтоб гниды подошли!

— Дай слезу в душу, Ванюша!

— Грянь, друг!

И Иоанн с радостью гремел.

* * *

Я был тогда маленьким, но помню его песни. Песни были ясные и простые, почти без слов и мысли, один человеческий голос — и в нем тоска:

Загуди ты в поле, выюга,
Замети мои пути,

Пронесися белой птицей,
Песню в сердце засвети.
Ой, не надо боле жизни,
Ни березки, ни травы...

Я узнал, что Россия — это поле, где на конях и на реках живут разбойники, бывшие мастеровые. И носятся они по степям и берегам глубоких рек с песней в сердце и голубой волей в руках.

Я вырос, а Василий Иванович, Никанор, Иоанн Мамашин — все куда-то делись: кто умер, кто ушел в бродяги, кто навсегда затих, утихомирился; отмачивает дратву, поглядывает на тихую завороженную улицу и спит, как сурок, долгие дождливые русские ночи; кто залег на лежанку и любит по вечерам на сына, как он читает книги, и думает до утра.

* * *

Недавно я шел в поле один по свежему жнивью. Как и в детстве, горел вечерний костер на небе и стихало солнце, уже окунавшееся в далекие леса. Та же радость и тишина во мне. И далеко вдруг какой-то родимый и забытый голос запел песню. То тянули домой в деревню пара волов телегу с тяжелой рожью. За возом шел дед и его девушка-внучка. Она и пела одна.

Нигде милого не вижу,
Да ни в деревне, да ни в селе.
Только вижу я милого
Да на патрете, да в сладким сне!..

Вон и деревня видна — куча хат, крытых в нахлобучку тою же ржаной соломой. Оттуда идет дым и пахнет пекущейся картошкой, молоком, грудными ребятами и подолами матерей.

Кругом было тихо и чудно.

Вчера я был в этой деревне и встретил там Автонома. Он уже сапожник, а не свободный акушер и живописец. Поговорил бы с ним, да он не захотел: должно быть, забыл меня.

— Прощевай, — говорит — я пока что посплюсь, пока все вши в холодок ушли.

И он задрал кверху бороденку и выпустил воздух с густой възгрей из одной ноздри. И в животе у него забурчало от молока и от огурцов.

— Милый, ты мой!

Иван Митрич

Старый человек, — похожий на старушку, а не на мужика, — ходил подвязанный платочком под подбородочек. Ходил он по городу в две тысячи душ и следил за порядком: что, где и как.

Сам он не нужен был никому: стар и неработящ. Зато ему нужны были все.

Шли ли куры, стояли ли плетни: Иван Митрич не упускал их из виду. Мало ли что!

Жил он тем, что давала ему дочь — швейка-мастерица.

Каждый день она посылала его на пески к Дону, на базар — принести хлеба, говядины, овощу и прочего. И наказывала:

— Приходи раньше, чтоб обед был вовремя!

Иван Митрич шел и пропадал. Приходил к вечеру, а не утром. Его мучили непорядки.

Куры застревали в дубьях на улице у постройки. Иван Митрич ложился животом на дубья и глядел. Курица билась в узкой щели внизу и не могла размахнуться крыльями и выскочить.

Иван Митрич изобретал и строил некий мудрый прибор из прутьев, соломы и веревки и извлекал под конец, часам к четырем, перепуганную квохтунью.

Потом шел на базар к шапочному разбору и накупал товар-осталец, самую грязь, дешевку и нечистоту. Потом брел тихо и беспокойно домой и приходил, когда благовестили к вечерне.

Он покорно слушал укоряющий говор дочери и, когда темнело, уходил в странствие: та курица снеслась в дубах, и яйцо там покоилось и взывало к нему.

Раз сманили его монахи поступить в монастырь к угоднику божию Тихону: ибо святость его велика, а в храмах бога благолепие, экономия и порядок.

Иван Митрич стал преподобным Иоанном и надел черную свитку. Но через неделю ушел домой к дочери от скукоты и елейной вони.

Шел он домой. Продавал на базаре цыганенок черную живую сучку Ласку. Купил ее Иван Митрич, ощупал в кармане пяточок, взял извозчика, закурил папироску и поехал с барышней-собачкой на коленях.

И стал он опять, чем был.

А в одну весеннюю ночь, когда кричали за Доном соловьи и у дочери сидел любовник, Иван Митрич увидел сон, что стоит он на берегу Дона и мочится. И от множества воды из себя перепрудил Дон, утонул и умер.

Чульдик и Епишка

Ехидный мужичок похлопывал носом и не шевелился. И нельзя было понять, спит он или и сейчас хитрит: один глаз был не закрыт, а прищурен. Он лежал под глинистым обрывом на берегу Дона. Пониже стояла лодка с рыбацкими снастями, а повыше луг и дача без господ.

— Давай назад, оттыльча... оттыльча... — бормотал мужичок: значит, спал как надо.

С обрыва сигналу другой такой же мужичок, будто брат его, но только еще жиже и тоще, а на вид душевней.

— Хтой-та эт? Што за Епишка? Откель бы... И пахуч же, враг!..

А во сне спящий — ехидный и пахучий — и сопеть перестал: сон увидел, что наелся говядины и лежит с чужой бабой в соломе.

Душевный мужичок, что пришел, шлепнул его огромным кнутовищем по штанам.

— Што за Епишка, спрашиваю, хозяин такой тут?..

Епишка ото сна понял это по-своему:

— Дунь, Дуняшь... Не бойсь, уважь!.. Чума с ним, мужиком, сатаной плешивым...

Но этот стеганул по пояснице как следоват, и Епишка вскочил.

— Што!.. Ай я... Дунька, враг, ведьма днепровская!..

Душевный Чульдик поморгал и сказал:

— Добре-е... Дунька? Нет, малый, облизись да вали до хаты, откель вылез, видно так-то...

Ошалелый Епишка вскочил и в портках поплыл через Дон на деревню. Там звонили на колокольне, и стояла туча черного дыма с красным вздыхающим животом...

У Чульдика от годов глаза, как говядина, и видел он шагов на пять. Он набил трубку и полез в лодку глядеть перемет, как будто в мире было сплошное благо.

У Епишки, который был зорок на ехидный глаз, горело от горя сердце, и он дул через Дон во всю мочь. На том боку Епишка ухватился за куст и повис на нем, ослабши.

Вот он без духа летит по лугу и держит штаны за ширинку. Вонна его хата. Там спит его девочка в люльке. Она обмокла и хочет есть. А он, Епишка, бродит один по жарким сухим полям и думает неведомо о чем, живет без друга, без родного человека и без причалу.

Теперь его хата занялась полымем от соседского плетня, и Епишка вот мчится и чует, как проваливается его душа, как стоит кровь в жилах и пляшет сухое сердце.

Хата закружилась в огне и ветре, а Епишка упал в пыль на дороге и пополз от немощи.

По всей округе было безлюдье. Полсела полыхало. А Епишка, как белый камень с чужого неба, лежал мертвым и окаянным.

Дон лился на перекатах, и Чульдик сидел в лодке середь реки и нанизывал червей на крючки. Он был там свой, питаясь из реки и думая над ней.

* * *

Обгорелый Епишка похирел дня три и стих. Чульдик вырыл ему яму в углу кладбища, где гадили и курили ребята, когда шла обедня, и закопал Епишку вместе с девочкой.

— И дело с концом, — подумал он и пошел себе.

Пять дней Чульдик таскал бирючков, подустов и голавлей и ни разу не помянул Епишку.

На шестой он дремал под вечер у землянки и сразу будто увидел Епишку, как он спал у ладьи и поминал Дуньку в непутевых речах.

Чульдик, как подхваченный, пошел на деревню и без жалости пришел в изгаженный угол кладбища.

Там, под бугорком, гнил Епишка, по-деревенски — Кузьма. Чульдик присел на лопух и забыл, зачем пришел.

— Кузьма, Кузя!.. Нешто можно так, идол ее рашшиби-то!.. Али я, али што?..

Дон бормотал на перекатах, и видна была черная дыра землянки на том берегу. На улице рвала и ухмылялась гармошка под лад девок:

Я какая ни на есть —
Ко мне, гадина, не лезь!
Я сама себе головка,
А мужик мне не обновка!

Поп

Был поп и были мужики. Вот раз приходит к попу один мужик и говорит:

— Как бы мне, батюшка, сына, к примеру, женить?

— А, тебе сына женить, тебе вот сына женить!.. — Женить, батюшка, непременно. Вожжается с Машкой Безрукиной, ходит — мычит!

— Ага, тебе сына женить!

— Яичек, пашенца, куренка я вам, батюшка, в сенях поставил.

— Марфа, Марфия, пропади ты пропадом!

Прибежала кухарка Марфа, подол подоткнут под мышки, и видны голые лыдки.

— Возьми, что там в сенцах этот поставил, в чулан спрячь.

Мужик стоит и думает о корове, о Машке Безрукиной и о всем постороннем веществе.

Поп посопел и сказал:

— Приди, друг, завтра.

— Прощайте, батюшка.

— Ступай, сынок.

Приходит мужик завтра. Положил в сенях петушка и коровьего маслица, подумал и вошел в покой.

— Здравствуйте, батюшка!

— Здравствуйте! А ты чей, ты зачем пришел?

— Мы здешние. Степку женить, а то с Машкой вожжается, ходит — мычит.

— Ага, тебе Степку женить! Так-так! Тебе Степку женить, ходит — мычит?!

— Мычит, батюшка, говорить перестал, а во сне разговаривает.

— Марфа, Марфия, непокорная дочь!

Прибежала гололыдая.

— Возьми там. Глянь, цел у амбара замок? Чулан запри строже!

Мужик стоял и думал о всякой суете.

— А ты приходи завтра. Обдумать это дело надо. В нем великая суть. Надобно спрехвала к этому делу подобраться!

— Да то как же, дело великое! Святой, можно сказать, случай, Степка мычит! Бродит, леший сутулый. По ночам ворочается и глазами не моргает!..

— Ну, ты ступай, ступай. Разговорился!

* * *

Приходит мужик назавтра. Положил в сенях, что надо по положению, и вошел в тихие прохладные покои батюшки.

— Тебе што?

— Да вот опять же...

— Ага, тебе Степку женить, по ночам мычит. Приди завтра!

— Да нам, батюшка, ходить-то уж дюже... И к тому же сено возить, самый дробыш остался.

— Ага, тебе сено возить, дробыш! Тебе некогда, а батюшке есть когда! Батюшке делов нету? Тебе Степку женить, а батюшке горе? Все батюшке, все ему одному, всех вас пользует, а он все один! А ты што влупился в меня, ты што пристал-то, ай без меня и ходу нету, ни вздохнуть, ни родиться?.. Ай так? А хочешь, я из тебя шута сделаю?

— Батюшка, да што вы, отец родной? Я не к тому. Темный я, проклятый человек... Нам не до того. Я все об Степке.

— Ага, ступай к отцу дьякону!

Мужик постоял, подумал, что все едино, нету на свете ничего, хотел уходить, но вспомнил о полях, о своей жуткой хате и еще постоял.

Батюшка перешел в другую комнату, присел за дверью и стал глядеть в скважину на мужика. Тот влупился глазами в пол и шептался сам с собой.

— А, ты батюшку ругать, ты меня хулить, ты суету в себе распустил, ага, ты вон какой!..

— Да што вы, аль я такую личность...

— Стой! Замри! Гляди на меня, какое небо, — черное? Не оглядывайся?

— Да нет же. Денное небо, обнаковенный верх... У меня спешка по хозяйству, батюшка, об лугах сумление... Душа у меня батюшка, без греха, чиста — одно слово. Только я живу без пути и с обидой.

— Ага, с обидой!.. Ну, скройся, исчезни с глаз, дух суеты, дух дерзости и пустого хождения!.. Марфия! Марфа!

Мужик пошел без толку и встретил в сенях Марфу, голые лыдки. На дворе было небо, обыкновенный верх, и мужик исчез. Батюшка ни о чем не думал и видел потолок. Пришла Марфа.

— Что ты со мной делаешь, дочь супостата? Спрячь из сеней в чулан! Да запри, запри строже! Амбар огляди, бесстыдница содомская! Что ты за дурь такая?.. Уходи!

Мужик брел у плетней и думал о всем свете. Из хаты Машки Безрукиной вышел его Степка. Он промычал что-то, поглядел непутевыми глазами на дорогу и перелез через плетень. Мужик поглядел на него отцовскими скорбящими глазами. Потом оглянулся кругом:

— Пропади ты пропадом!
И не пошел в свою хату, а залез в бурьян и задумался.

Мавра Кузьминишна

Мавра Кузьминишна Горечихина — старушка. Сыновья ее умерли, внуки пропали без вести, а невестки выгнали и вышли замуж вторично. Мавра Кузьминишна тогда взяла и продала старинный мужнин сюртук, жилетку и шесть пар ветхих валенок. Выручила она за это имущество одиннадцать рублей с пятачком и спокойно зажила себе без попечителей и попрекателей. С тех пор прошло четырнадцать лет, а Мавра Кузьминишна еще не прожила одиннадцати рублей, даже и не почала их.

Мавра Кузьминишна любит кушать, например ест летом котлеты, любит в пост уху и иногда, беззубая, варит себе манную кашку, любит ходить в гости и приятно одеваться в свое старое пышное подвенечное платье с тюньюром.

Одиннадцать рублей можно всю жизнь не прожить, если научиться жить у Мавры Кузьминишны. По крайней мере, не будешь растратчиком собственных денег.

У Мавры Кузьминишны дома сорок плошек. Вместо цветов она разводит в них всякий овощ — картофелины, морковь, лук, репицу и прочее и даже цветы «огонек». Плошки она собрала на дворе, выбрасываемые расточителями, за комнату никогда ничего не платила — хозяйину за это смотрела за курами. Котлетку и другой питательный продукт, не растущий в плошках, приобретала в обмен за рассаду «огонька»-цветочка.

Кроме этих доходных статей, Мавра Кузьминишна сама по себе была ласковая и духовитая бабушка. Скажет что-нибудь соседке задушевное, а та:

— Кузьминишна, иди чай пишь, вареньице есть, пирожка отрежу!.. А Мавра Кузьминишна:

— Штой-то поясницу ломит, Никитишна... У тебя какое варенье-то?..

Питалась Мавра Кузьминишна, прожеывая пищу длительно, томя желудок и истекая слюной, чем добивалась высокой полезной отдачи пищи; зимой не выходила из дома без нужды — холод истощает тело. Летом сидела под теплом и сиянием солнца, множа калорийные силы организма, ночами спала глубоко, как будто она рыла могилы и очень устала, и во сне видела сытную мягкую еду и сукна.

Так Мавра Кузьминишна до сих пор имеет свои одиннадцать рублей с пятаком и отдаст их, вероятно, только мне, чтобы я мог закрыть ей очи ее же пятаком, когда придет к ней заблудившийся смертный час.

В следующий же час — не смертный, а живой — я покажу этим одиннадцати рублям то, чего они не видели четырнадцать с лишним лет.

Экономик Магов

В бывшем городе Задонске — теперь там сельсовет — по улице 19 Июля проживает гражданин — Иван Палыч Магов. Задонск — древнерусский монастырский центр, город божьих старушек и церковных золотых дел мастеров. Монастырь был кормильцем обитателей этого города (200 тысяч в год странников, богомольцев, богомолки и прочих пешеходов), а теперь, когда монастырь имеет значение пожарной каланчи и радиоприемника, жителям

питаться нечем. Раньше по грунтовым дорогам в город несли холстину, а теперь по эфиру туда несется радиомузыка.

Вместо имущества — красота!

Поэтому жители перешли на экономический строй существования.

Иван Палыч — наиболее выдающийся, в общем и целом, задонский экономик. Он имеет одну пару сапог уже двенадцать лет — и они еще новые и гожие в долгую носку. Иван Палыч опытом и собственной осмысленностью дошел, что у сапог есть четыре врага: атмосфера — дух, вода — гидра, уличный торец и хождение без надобности.

После каждого своего похода в город или в грунтовые окрестности его Иван Палыч сапоги снимал, стирал с них тряпочкой пыльцу, мазал неспешно и слегка ваксой, чтобы не бередить зря кожу, и, приподымая осторожненько за ушки, опускал в специально для того сшитые брезентовые мешочки водо- и воздухо непроницаемые, набитые сухой овсяной соломой, ежегодно сменяемой.

После сего мешки запечатывались деревянными пуговицами — рукоделие самого Иван Палыча — и подвешивались на потолочные гвозди, где воздух суше и покоя больше.

Оно и понятно: сапоги приобретены за 7 рублей, а женитьба Ивану Палычу обошлась круто в четыре с половиной, но эти чрезвычайные единовременные расходы были с некоторым избытком возвращены приданым жены — домом с палисадом, забором, нужником и сараем, — имуществом высокой долговечности. Да еще движимого имущества имелась некоторая наличность. А что оставляют сапоги, когда они изнасятся?

* * *

Об Иване Палыче можно написать книгу, и можно всю его экономически цельную, граждански, так сказать, последовательную фигуру понять из следующего заключительного аккорда — карандаша.

Иван Палыч вышел из первого класса церковно-приходской школы, порешив, что от ученья можно с ума сойти (в тот год повесился сын барина Коншина — студент, начитавшись книжек и переучившись), а главное было в том, что Иван Палыч хотел поскорее зарабатывать свой гривенник в месяц — и поступил мальчиком в монастырскую ризницу.

Вот с той поры и до сей Иван Палыч имеет один и тот же карандаш — на всю жизнь, оказывается, достаточно одного карандаша! Вот норма снабжения разума инструментарием!

При этом Иван Палыч не покупал карандаша, а получил его без оплаты от пономаря Сергея, которому этот карандаш уже не приходился по рукам — по малым размерам вследствие исписки. Пономарь же Сергей сочинял, писал и сбывал на рынок рацеи, поэтому нуждался в новом, более рациональном карандаше.

Главный враг карандаша — не писание, а чинка. Чинка же имеет в первопричине не расход графита, а безумную спешку в писании, ненужное нажимание и ломку драгоценного материала, добываемого не то на Урале, не то на Бахчисараевых островах.

Что труднее — добыть графит или сломать карандаш? Вот где премудрость экономики! Каждого безумца, сломавшего карандаш, надо послать пешком добывать графит!

Цыганский мерин

Сергея Чепцов — мужик малозначущий: землю имел для голодного хлеба. Сам же постоянно стремился отправиться путешествовать вокруг света, чтобы обнаружить на его краю истинный смысл жизни. В молодых годах Сергей жил послушником в Митрофаньевском

монастыре; потом, изыскав мочалу в мошах, совершил святотатственный акт — положил мышинный выводок и часы-будильник в раку, когда задремал дежурный монах, и скрылся на Урал к раскольникам.

В восемнадцатом году Серега вернулся домой. Это был уже пожилой мужик, однако, его надо было постоянно удерживать от немедленного начала кругосветного путешествия:

— Обожди, Серега, меня — купим пару коней и тогда тронемся спрехвала...

Когда Серега накопил сорок пудов сухарей, ему стало невтерпеж откладывать, и мы пошли в город посмотреть лошадей. Серега продал хату и имел деньги на лошадь, а я свои истратил на жамки и имел значение советчика и приспешника.

— Почем одр? — спросил я у цыгана, понимая лошадиное дело. Цыган был ряб и конопат, будто его сначала обварили кипятком, а потом обрызгали навозным отстоем.

Цыган был горяч своей натурой и лих на цыганское слово.

— Это ж не одр и не лошадь — это чистый конь! Вот, гляди, грива ложится сама на правый бок, шерсть — как пух на щеке твоей невесты!.. Это же не шерсть, это ковер!.. Ты погляди — глаза блестят, как у дьявола! Это страшный конь...

— Не говори зря, арестант, — окоротил я цыгана, — говори разом: сколько?

— По душе и по коню — семьсот.

— Ага, тебе по душе семьсот, а я тебе полтора! Получай деньги и давай карточку!

— Да я ж тебе говорю — коню четыре года! Ты ж погляди — машина!.. Гляди сюда, гляди ноги, погляди в зубы... Не копыта, а кочерыжки! Ну, гляди сюда, ты гляди на коня! Ты слухай меня, ты постой, ты слухай, что я тебе говорю! Ты гляди, как бегать, ты слухай, снимай шапку и молись — давай пять!..

А рядом два другие цыгана били по спине и уговаривали моего Серегу:

— Ну, давай петушка! Слухай, я тебя люблю, дай петушка*.

И снимали шапчонку с него и крестили его, поворачивая к местному кафедральному собору. Потом опять надевали шапку на разбитую думой и нуждой Серегину голову и расходились, как два свекора.

Потом опять ворочались, колотили руки, плакали и клялись, обнимались, молились, вынимали деньги, это Серега, а цыган уже и сдачу приготовил и опять прятали, снова кляли друг друга и еще пуще ругались.

— Ты ощупай к жеребцу еморой лечить, гнида плешивая! Ты хоть на поводок дай, сука склизкая, морда облупленная!..

— Ай, и жулик, ай, и народ! Что за народ? Да на тебе все — на! Ты готов усега человека слопать, — бормотал добрый Серега и платил деньги за серого сонного мерина.

Я по чести предупреждал Серегу — мерин не гож в дальнюю дорогу, но Серега почел приобрести мерина, в знак решения и неотложной срочности объехать на нем дальние страны.

И мы тронулись на мерине пока что в свою деревню.

Угромозились мы оба верхом. Но съехав с площади, мерин засопел, устал и прекратил дальнейший шаг.

Тогда я слез, выдернул кол из ближайшего плетня и начал слегка лупить мерина. Мерин двинулся.

Серега обрадовался, я опустил кол и пошел сзади своим шагом. Но мерин сейчас же остановился. Я опять дал ему почуять кол и так шел все время, неотлучно трудясь.

Устав работать, я влез на мерина, а Серега пошел сзади, утруждая мерина колом и добрым словом.

На вторые сутки мы прибыли домой ослабшими. Серега поставил мерина в плетневую огорожу, крытую соломой, и пошел отсыпаться и собираться в дальний путь. Перед этим Серега положил мерину пуда четыре сена и дал резки.

Ночью Серега вышел попить мерина. Тут ему представилась жуткая картина.

* Оказывается, обыкновенную пятипалую человеческую руку! — *Прим. Автора*

Ночь была лунная, блестела роса, гоготали дураки на улице, а мерин стоял на голом дворе в редком частоколе, как привидение в мире приключений.

Оказывается, мерин, съев резку и сено, закусил соломенной крышей сарая и заел все это плетневой огорожей. Мерин не перевозмог только кольев, хотя тоже глодал их, тщетно ища в них своего пропитания.

Когда Серега подошел к мерину, тот дремал и не обрадовался хозяину.

Утром Серега пришел ко мне:

— Ну, кум, беда — мерин сарай съел. Должно, сильный черт, на таком только и ехать округ света!..

ИЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОЧИНЕНИЯ

Демьян Фомич — мастер кожного ходового устройства

В день Косьмы и Дамиана (теперь Индустриала и Карла) он был именинник, потому что был Демьян. Демьян Фомич сапожничал — старинное занятие. Дратва — стерва — долго его удручала своим наименованием, пока он не притерпелся; только наващивал дратву. Демьян Фомич — всегда в сердечном остервенении и раздражаясь попусту на ее мертвое тело.

Но делать нечего. Демьян Фомич был чтец и жил по прочтенному в умной книге правилу:

**«кто начал жить и сказал, не
разумея, «а», тот пусть созиж-
дет свою жизнь так и далее до
фиты и ижицы».**

И Демьян Фомич стерпивал время и вымалчивал дни, подвигаясь к ижице.

Но пока терпел Демьян Фомич, шея и лицо его покрылись буграми омертвевшей кожи, волосы из рыжекудрых стали белыми, а потом табачного вечного цвета.

Тем временем ижица была истреблена большевиками, и Демьян Фомич не мог добиться у знающих людей, какая буква ее заместила. Последняя буква должна быть такой, какая не пишется и не читается: это глагол — мудрое слово, знак конца разума и угасания чувства сердцебиения.

В старинное время Демьян Фомич читал библию и ужасался: до точности исполнялись означенные события и не было милосердия!

Женат Демьян Фомич был на кухарке Серафиме, худощавой и злостной женщине, двадцать четыре года пилившей душу Демьяна Фомича деревянной пилой, пока в ней не опростоволосилась вся душа и она не увидела, что оба они нагие и муж ее уже не отдышится от сквозного тридцатилетнего труда и не изменит ни с какой пышной женщиной.

* * *

Городок, в котором стояло жилище Демьяна Фомича, занимал местоположение древнего талдомовского татарского становища. Здесь отсыпались татарские всадники от великой степной скачки перед штурмом Троице-Сергиевской лавры.

Оттого на некоторых лицах талдомовских сапожников до сих пор не стерлись древне-азиатские черты: у некоторых темен волос, как у индейцев, другие имеют распертые скуля и сжатые глаза, а многие сапожники любят змей, будто они родились в пустыне или на Памире.

Город был ветх, пахнул кожаным хламом, ваксой и мышью, точившей в ночное время кожу по углам.

В городке была распространена простуда: сапожники, раздевшись, выбегали в холодную пору в уборные и остужались.

Мокрые поля вокруг города были изредка возделаны, а чаще имели назначение подошвы неба.

Это мне все рассказал Демьян Фомич — его живые слова.

Демьяновы предки тут четыреста лет наращивали стаж и квалификацию, так что один из них — Никанор Тесьма — уже делал сафьяновые полусапожки Иоанну Грозному. А другой предок Демьяна Фомича, сбежав из солдат на волго-донские степи, впоследствии чинил сапоги Степану Разину и был помилован единственно из-за своего знаменитого мастерства; он дожил жизнь в Москве, перейдя стариком на валенки.

Были у Демьяна Фомича в родне и латошники — люди ущербного мастерства, в которых ремесло пятисотлетнего племени уставало и временно угасало.

В 1812 году, во время нашествия Наполеона и народов Европы, жил дед Демьяна Фомича, — по прозвищу Серега Шов, — великий мастер и изобретатель пеших скороходов, сподвижник Барклая-де-Толли: один отступал, другой шил сапоги впрок, чтобы было в чем наступать в свое время.

Серега Шов говорил будто бы в Москве с Наполеоном:

— Землю обсоюзить восхотели, ваше величество, а она валенок, а не сапог, и вы не сапожник!

Наполеону перевели, и он смеялся:

— Скажите, пока я только снимаю опорки с мира, а когда он будет весь бос, я выучусь быть для него сапожником!

Сергей Шов умер в 1851 году в Марселе от холеры, где он имел мастерскую морской обуви с вывеской:

СЕРЖ ШОВЬЕ

Вдова Сереги, — Аграфена Шовье, — вышла замуж вторично за голландца, штурмана дальнего плавания, и пропала без вести: говорят, будто бы ее с мужем съели африканцы на одном океанском острове после кораблекрушения.

Сын ее — от Сереги — вернулся домой и отцовствовал над Демьяном Фомичом; другой сын Аграфены — от голландца — писал сочинения и умер тому тридцать лет в славе и чести, будто бы в Америке.

Талдомский сапожник везде дело найдет и не изгадит его, а доведет до почитания!

* * *

Демьян Фомич работал, как во сне, думая о третьих лицах и вещах: до того привычно стало обувное дело для него. Он мне открыл свою сокровенную думу:

— Хочу, — говорил, — изменить исторический курс своего рода-племени.

— Демьян Фомич был чтец и умел сказать что надо!

— Какой курс? Зачем?

— Так, — говорил, — уйду с обуи на другое занятие. Все равно вскоре не будет сапожников, — я машину сапожную изобрел для всякого кожаного ходового устройства...

— Покажи-ка ее, Демьян Фомич.

Демьян Фомич показал: десять листов ватманской бумаги, на ней умелые чертежи; все уже пожелтело, давно, наверное, работал над этим Демьян Фомич.

— Вы это сделали?

— Нет, были и помощники, — свояк помогал, он в Коломне техник.

Я разглядывал — как будто грамотно и остро задумано, но я электрик и не вполне еще усвоил обувное мастерство — действительно искусное и трудное дело, хотя и я в детстве шил сапоги с Кузьмой Ипполитычем, другим талдомским сапожником, поймавшим меня водочкой и неожиданно умершим десять лет назад восьмидесяти лет от рождения.

— Какое же новое дело вы выберете, Демьян Фомич?

— А ты не зря спрашиваешь? — спросил Демьян Фомич и бросил кожу в таз с водой. — Ну, ладно, по сурьезному поговорим! Уйду будочником на Уральскую железную дорогу, буду жить в степи. Я хочу написать сочинение, самое умное — для правильного вождения жизни человека. И чтобы это сочинение было, как броня человеку, а сейчас он нагой!.. В будке будет тихо, кругом сухие степи, делов особых не будет... А то так и умрешь голышом, а я выдумал все мировождение по направлению к праведному веку. Двадцать лет мучился головой, а теперь покоен!.. И ты ведь ничего не знаешь? Глист тебя сжует в гробу — и все!..

— Это верно, — думал я дома вечером, зачитываясь «Красной Новью», — верно задумал Демьян Фомич: четыреста лет жили предки его — сплошные сапожники; в этом роду скопилось столько мозговой энергии, что она неминуемо должна взорваться в последнем потомке рода — Демьяне Фомиче.

И, действительно, это будет крик мудреца, молчавшего четыреста или пятьсот лет. Его мысль будет необыкновенной и праведной — столько лет скапливался и сгущался опыт и мозг стольких людей!..

* * *

На другой день было воскресенье.

Мастера поздно пили чай и читали газеты.

Я потратил день на раздумье и хождение по местным торфяным болотам.

Скуден север, скудно даже летнее наше небо. В бараках торфяников пела гармония, над Москвой летали аэропланы и стоял газ напряжения ее машин и людей. Тихо росла отравы и заунывно звонила старая церковь из недалекой деревни.

Возвратившись в город, я увидел небольшое гульбище. В середине народа стоял Демьян Фомич. Он был пьян, на нем был старый цилиндр, под мышкой он держал благородную собачку, а другой рукой обнимал за шею малорослого беспризорного.

Демьян Фомич был в Москве и оттуда привез все удовольствия. Народ смеялся.

Из цилиндра вылезали тараканы и ползли по лицу Демьяна Фомича; тараканов, попадавших в рот, Демьян Фомич жевал и, очевидно, глотал — подскакивал кадык.

— А, друг сурьезный!.. читал?.. Торфяников высоким напряжением поубивало... А я сам от собственного напряжения убиваюсь!.. Эх, вша ты, подметка!.. Может, у меня в голове бесконечные пространства жмутся от давки, как угнетенный класс пролетариата!..

Я с детства знал, по отцу, что такое пьяный мастеровой человек — это невыносимо, говорят. Но я люблю пьяных людей, это искреннее племя.

И пошел с Демьяном Фомичом разговор договаривать и чай пить, заодно.

Крюйс

Стоит лето на уездном дворе домовладельца Крюйса. Федор Карлович Крюйс — потомок давнего голландского адмирала Крюйса, служившего у Петра первого по кораблестроительному делу в г. Павловске, что стоит на Дону при впадении в него реки Осереды.

На дворе Крюйса растут лопухи, меж коих в нужные места протоптаны дорожки. С утра до заката стоит на дворе суета насекомых и в почве идет возня червей, залезающих в глубины грунта. Сам Крюйс лег в погребе отдохнуть после обеда. Русский континент пылал и плыл в пьянном и страстном июньском солнце, терпеливо наращивая на себе, макаясь в солнце, зерна, деревья, ветры и тесто незарегистрированной визжащей твари. К полудню особенно разрослся гул гадов, и поэтому Крюйс уходил в прохладу погреба, в соседство слепого и мыслящего червя, жизнь которого была очевидна на живом разрезе земли в погребе. Федору Карловичу было теперь 48 лет.

От 20 до 35 лет он был погонщиком лошадей на дилижансе. Лошади не шли и не бежали, а поспешали уездной рысью, и то не все враз; а Федор Карпыч (так его по-русски звали) то разминался рядом с лошадьми, то сидел на крыше дилижанса и от скуки угрожал расправой кнутом пашущим мужикам. Через каждые 20 верст — всех было 80 — Федор Карпыч выдергивал волос из лошадиных хвостов, беря его поближе к луковице, и продавал в курени донских рыбаков.

Так зря прошли 15 лет.

Полевые дороги, скорбь, старушки-богомолки и тихие домовладельцы-старички в дилижансе приучили Федора Карпыча к раздумью. Федор Карпыч не женился, считая, что человек расходуется и стареет не столько от забот и трудов, сколько от жены-женщины, и что бедность и всякое ослушание и преступление по земле течет из семьи. Да и потом — родится сын, а может, он дурак окажется, и наверное будет дурак, и только зря жизнь возмутит.

Жизнь будет держаться на земле, пока она будет считать себя малой вещью. Все иное — неосторожность, дурья сила и грозит гибелью. Следует испивать влагу малыми глотками, — запой, жадность остудит и повредит желудок: разведет в нем глистов, которые тебя источат, а потом сами подохнут в тесноте и прахе гроба от бескормицы и тоски.

Скупю надобно в себе держать телесные силы, живя спрехвала и еле-еле, — как бы нехотя и кого-то одоляя безвозвратно, терпя жизнь лишь из жалости к ней самой несчастной.

Таково было экономическое существо природы Федора Карповича. И, действительно, он нажил домик и дворик оттого, что был бобылем. Действительно, Федор Карпович остался как бы средним существом, — не старым, далеким от смерти, хотя и не очень был доволен своим рождением.

Но Федор Карпыч был не прост и не особенно сложен, — он был неведом, как все люди; неведом, т. е. не записан в ведомость, а если и записан, то не весь, — не хватило в ведомости граф.

В дни зимы и в лунные ночи Федор Карпович писал сочинения.

Я был сыном рыбака. Покупал в детстве, по поручению отца, коний волос у Федора Карпыча. Потом стал писателем, потом инженером, потом профработником. Потом я решил лишиться себя всех чинов, орденов и бронзовых медалей и уехал на родину, на Дон, на его песчаное прохладное дно, в его тихие затоны и на каменистые перекаты, где в зарю густо идет рыба на нахлыст.

Поселился я, понятно, у Федора Карпыча.

Мы жили, ловили рыбу и мудрили.

Федор Карпыч ночами иногда писал, когда я, по молодости, спал.

И раз, опять в жару, в самую страсть и в стрекозиный зуд, — когда мы отдыхали с Федором Карпычем в погребе, — Федор Карпович почитал мне кое-что из своего фундаментального труда:

ГЕНЕРАЛЬНОЕ
СОЧИНЕНИЕ

О ЗЕМЛЕ
— И —
О ДУШАХ ТВАРЕЙ,
НЕСЕЛЯЮЩИХ ЕЕ

—

* * *

Вот оно, судя по моей небрежной памяти:

«Ты жил, жрал, жадствовал и был скудоумен. Взял жену и истек плотию. Рожден был ребенок, светел и наг, как травинка в лихую осень. Ветер трепетал по земле, червь полз в почве, холод скрежетал и день кратчал.

Ребенок швеи рос и исполнялся мразью и тщетой окрестного зверствующего мира.

А ты благосклонен был к нему и стихал душою у глаз его. Злобствующая зверья и охальничья душа утихомиривалась, и окаянство твое гибло.

И вырос и возмужал ребенок. Стал человек, падкий до сладостей и до тесной теплоты чужеродного тела, отвращающий взоры от Великого и Невозможного, взыскуя которых только и подобает истоцииться чистой и истинной человеческой душе.

Но ребенок стал мужем, ушел к женщине и излучил в нее всю душевную звездообразующую силу. Стал злобен, мудр мудростью всех жрущих и множащихся, итак погиб навеки для ожидавших его вышних звезд. И звезды стали томиться по другому. Но другой был хуже и еще тоще душою: не родился совсем.

И ты, как звезда, томился о ребенке и ожидал от него чуда и исполнения того, что погибло в тебе в юности от прикосновения к женщине и от всякого умственного расточительства.

Ты стал древним от годов и от засыпающей смертью плоти.

Ты опять один и пуст надеждами, как перед нарождением в мир сей натуральным.

Я слышу — скулит собака, занимаясь расхищением своей души.

Так и вся окрестная жизнь — вор, а не накоп, и зря она занялась на земле, как полуночная заря.

*Кто же людям сбережет душевность, плоть и грош?
Кто же заскорлупит теплоту жизни в узкой тесноте, чтобы она
стала горячим варом?»*

Федор Карпыч почитал, а я послушал — и мы оба вздохнули от умственного усердия.

— Ну как: приятно обдуманно? — спросил Федор Карпыч.

— Знаменито! — выразился я, томясь в нечаянном голоде.

— То-то и оно-то! — отвлеченно сказал Федор Карпович. — Ну пойдем щи есть, а то ослабнем!

Мы вылезли из погреба и двинулись сквозь лопухи и дворовый бурьян, сбивая мошек, бабочек и прочую дрянь с их маршрутов.

Душевная ночь

Сердце — трус, но горе мое храбро.

Скорбь и скука в одиннадцать часов ночи в зимней деревенской России. Горька и жалостна участь человека, обильного душой, в русскую зиму в русской деревне, как участь телеграфного столба в Закаспийской степи. Скудость окрест и малоценные предметы. Вьюга гремит в порожнем небесном пространстве, и в душе наступило смутное время.

Был холод, враг, аж пот на ногах мерз. Кровь в жилах, оголодавших за дальнюю дорогу, сгустела в сбитень и стужа кипела на коже варом.

Посерьезнел крестьянский народ и надолго забился в тихие дымные деревни и там задумался безвестными, сонными думами — про скот, про первоначальные века, про все. Мыслист русский народ, даром что пищу потребляет малопитательную. Волчьи ночи — века, темь и немость хат, лунный неземной огонь на небе, над рекою пурги, душевная доброта человека от понимания мира — все видимое и невидимое, как вода сквозь грунт, стекает в сердце тайным ходом и орошает жизнь.

Едешь неспешно, лошади кормлены на заре, и вся их мочь, давно иссосана ледяными ветрами.

Едешь, а душа томится по благолепию, по лету, по благовеющему климату.

Зима дадена для обновления тела. Ее надо спать в жаркой и тесной норе, рядом с нежной подругой, которая к осени снесет тебе свежего потомка, чтобы век продолжался...

* * *

Не особенно скоро, но все же настало время, когда мы доехали вконец.

Стояли три, либо четыре хаты — хутор. Брехали собаки, пел в неурочное время петух и шевелилась в сараях прочая живность, которой не спится и которая тревожится за живот свой.

Приехал я по малому делу, больше от душевной суеты, чем по насущной надобности.

Тут, на отрубе, жил один человек, малоценный в отношении человеческого сообщества, но в котором мудрость имела свое средостение.

Он и выполз наружу, услышав брех и петушиное птичье пение.

— Здравствуй, Савватий Саввич!

— Доброго здоровья! Что вас ночью примело, аль горе какое неутешимое?

— Ты все равно не утетишь — не баба!

— Я не к тому, я про душевность спрашиваю...

Вошли в хату к Савватию Саввычу. В избе — пустошь. Лежит окамелок старого окоченелого хлеба, на лавке дрожит в стуже щенок, больной и жалостный, с душевными глазами.

Кругом — голо, прохладно, бездомовно, не пахнет по-человечьи. Сразу видно — бабы нету. Нет в доме оседлости и постоянного местопребывания.

Печь холодная и спит, должно, на ней один человек, но ему не спится и он думает о светопреставлении, о пустынном мире, о встречном ветре времен, — и сам с собою разговаривает.

За окном снежная топь, в поле не скинешь дороги, далекие города шумят в бессонном труде, мужики, уставшие от всяких делов и баб, спят без памяти, солнце бродит вдалеке от земли по косому зимнему пути, а к человеку не идет сон, и до утра еще далеко.

Мать его умерла давно, некому его вспомнить даже в погожий день.

Есть мысль — жена одиноких. Есть душа — дешевая ветошь.

Мало имущества у человека!

— Давай почавкаем, — сказал Савватий Саввыч, — набьем в пузень дребедень — червей разводить в нутре!

И мы зажевали — не спеша и не вдумываясь во вкус.

— Я все думаю, — проговорил с полным ртом Савватий Саввыч, — от чего нету человеку благорасположения на земле? Живешь — и жмет где-то в нутре, аж сузиком всего сводит. Жизнь не в талию пришлась человеку!..

— Погоди, придется! Отожгем, приколотим, разошьем ушивки и вновь сошьем — и будет всем удобь. Шили нам сюртуки, а мы мужики!.. Вот какво дело! Пока жив, всякое приспособленье для хорошей жизни устроить допустимо. А теперь революция — нам ветер взад?

— Это все допустимо, — проглотив картошку, сказал Савватий Саввыч, — недопустимо, знаешь что? — На небо залезть, да пупок с пуза на лоб перенести, да еще кочетиное яйцо снести! Мужик пужался всего — оттого и жизнь была малопитательна. Бей в морду с отжошкой всякую супротивщину — на душе поблажеет и на дворе погожей станет!

Веселый свет загорелся в хате от легкого дыхания мысли, легче всякого высокого газа и душевного духа.

Вот он ветер — настоящая жизнь!

Заскрипела тяжелая снасть силы, злобы и просторного ветра богатой воли!

— К лету уйду отсель, — сказал сам по себе Савватий Саввыч.

— А куда? — спросил я.

— Так, блукать пойду. Человеку надобно продвижение, а не хата и не пшено! Тебе каши не положить?

— Благодарю. Не уважаю пшено.

— Гляди сам! У соседа баба готовит мне. Куфарь обстоятельный — семь годов у господ служила.

Говорили еще долго о всяких далеких, протяжных для мысли вещах.

Мы съежились, заслушались и послули, как провалились пропадом, изморившись за день жить.

Послули, засопели — и сразу завоняло луком.

Ночь на дворе осиротела, и метель стихла: не для кого.

Тихо стояли в плетневой огороже под соломенной крышей одурелые коровы, и высапывал взад-вперед възгрю годовалый бычок, не догадываясь, как и что.

В мире было рано. Шли только первоначальные века.

На другой день я рано уехал дальше по существенным делам.

История иерея Прокопия Жабрина

Жил он в уездном обыкновенном советском городе, весьма смиренном. Здесь даже революции не было: стали сразу быть совучреждения, для коих мобилизовали по приказу чрез-рев-уштаба местных барышень, от 18 до 30 лет от роду, дав им по аршину ситца и по коробке бычков — для начала. Иерей Прокопий жил не спеша, всегда в одинаковой температуре, твердо, как некий столп и утверждение истины. Ибо истина и есть покой. Покой же наилучше обретается в супружестве, когда сатанинская густая сила, томящая душу демоном сомнения и движения, да исходит во чрево жены:

— Жена! Ты спасаешь мир от сатаны-разрушителя, знойного духа, мужа страсти и всякой свирепости. Да обретется для всякой живой души на земле жена, носительница мира и благоволения! Аминь!

Хорошо, во благомыслии жил иерей Прокопий. И вот единожды, как говорится в суете, рак крикнул: свою могущественную длань иерей Прокопий опустил на главу благоверной.

Была на дворе духота, мухи поедом ели, бога, говорят, нету — так бы и расшиб горшок какой-нибудь. А тут жена Анфиса ходит, сопит, из дому гонит: полы будет мыть, к празднику прибираться.

Прокопий, иерей, утром не наелся: пища пошла на оскудение, а день велик — деться некуда, сила в теле напирает.

И совершил Прокопий злодейство.

Жена Анфиса раз — в чрез-рев-уштаб:

— Мой поп Прокоп дерется и власть Советскую ругает (сука была баба!).

— Как так поп дерется? — спросил комиссар, товарищ Оковаленков. — Арестовать этого неестественного элемента! Дать предписание учке!

И стал пребывать иерей Прокопий в затворничестве.

— За что, отец, присовокупились к нам? — спросил его купец Гнилосоыров. — Вам тут быть немислимое дело.

Иерей Прокопий прохаркнулся, прочистил свой чугунный бас:

— Го-го-го! Да все бабы, стервы, шут их дери!

И стала с этой поры Анфиса носить Прокопию обеды в учку, — ходит, плачет.

— Товарищ комиссар, отпусти домой Прокопа Жабрина!

— Обождет, — отвечал товарищ Оковаленков, — элемент весьма контрреволюционный! Пускай поступит на службу Советской власти — смоем свой позор трудовым подвигом.

Обрадовалась Анфиса, а потом и Прокоп. Должность нашли сразу: в канцелярии чрезуфинтройки.

Прослужил иерей Прокопий месяца два-три: делов никаких нету, сука, дожди пошли на улице.

— Хоть бы живность какую увидеть, поговорить бы с кем, — думал Прокоп, — люди кругом все охальники...

Приучился Прокоп курить: чадит весь день. Сидел иерей на входящих и исходящих. Придет бумажка, полная тьмы и скудных слов. Долго мыслит над ней Прокопий, потом запишет и опять задумается.

И было три праздника подряд. Анфиса опять начала грызть попа. Тогда он придумал в одиночасье: поймал у себя двух вошек и посадил их в пустую спичечную коробку:

— Живите себе на покое и впотьмах.

На другой день взял зверьков на службу. Раскрыл входящий и пустил их на белый лист пастишь.

Сам пописывает, а глазами следит, как вошки бродят в поисках продовольствия, но тщетно. Жить стало способней, и радостно одолевалось время бытия иерея.

Но судьба стремительна, и еще неодолимы для человека тяжкие стопы ее!

Через полгода скончался иерей Прокопий Жабрин, журналист чрезуфинтройки. Страшна и таинственна была смерть его: от частого курения образовался в горле иерея слой сажи.

И надо же было привезти одному старому знакомому Прокопия, мужичку из дальней деревни, корчажку самогонки, весьма крепкой. Давно не выпивал Прокопий: взял и дернул. Самогон вдруг вспыхнул в нелуженом горле — и загорелась сажа от махорки.

Для иерея наступил час светопреставления, и он скончался, занявшись огнем внутри.

Не от лютых скорбей, не плавающим и путешествующим и не от прочего, а от деревенского жидкого топлива погиб Прокопий Жабрин.

Когда донесли об этом его высшему начальству — товарищу Оковаленкову — тот остановился подписывать бумаги и сказал в размышлении:

— Жалостно как-то, черт его дери! Евтюшкин, выпиши его бабе пуд проса!

Луговые мастера

Небольшая у нас река, а для лугов ядовитая. И название у ней малое — Лесная Скважинка. Скважинкой она прозвана за то, что омута в ней большие: старики сказывали, что меряли рыбаки глубину деревом — так дерево ушло под воду, а дна не коснулось, а в дереве том высота большая была — саженой пять.

Народ у нас до сей поры рослый. Лугов — обилие, скота бывало много и харчи мясные — каждое воскресенье.

Только теперь пошло иное. На лугах сладкие травы пропадать начали, а полезла разная непитательная кислота, которая впору одним волам.

Лесная Скважинка каждую весну долго воду на пойме держит — в иной год только к июню обсыхают луга. Да и в себя речка наша воду начала плохо принимать: хода у ней засорены. Пройдет ливень — и долго мокреют луга, а бывало — враз обсохнут. А где впадины на лугах — там теперь вечные болота стоят. От них зараза и растет по всей долине, и вся трава перерождается.

Село наше по-казенному называется Красное Гвардейское, а по-старинному Гожево.

* * *

Жил у нас один мужик в прозвище Жмых, а по документу Отжошкин.

В старые годы он сильно запивал.

Бывало — купит четверть казенной, наденет полушубок, тулуп, шапку, валенки и идет в сарай. А время стоит летнее.

— Куда ты, Жмых? — спросит сосед.

— На Москву подаюсь, — скажет Жмых в полном разуме.

В сарае он залезал в телегу, выпивал стакан водки и тогда думал, что поехал на Москву. Что он едет, а не сидит в сарае на телеге — Жмых думал твердо. И даже разговаривал с встречными мужиками:

— Ну што, Степан? Живешь еще? Жена, сваха моя, цела?

А тот, встречный Степан, будто бы отвечает Жмыху:

— Цела, Жмых! Двойню родила! Отбою нету от ребят!

— Ну ничего, Степан, рожай, старайся, воздуху на всех хватит, — отвечал Жмых и как бы ехал дальше.

Повстречав еще кой-кого, Жмых выпивал снова стакан, а потом засыпал. Просыпался он недалеко от Москвы.

Тут он встречал, будто бы, старинного знакомого, к тому же еврея:

— Ну как, Яков Якович! Все тряпки скупаешь, дерьмом кормишься?

— По малости, господин* Жмых, по малости! Что-то давно не видно вас, соскучились!

— Ага, ты соскучился! Ну, давай выпьем!

И так, Жмых, — встречая, беседа и выпивая, — доезжал до Москвы, не выходя из сарая. Из Москвы он сейчас же возвращался обратно — дела ему там не было — и снова дорогу ему переступали всякие знакомые, которых он угощал.

Когда в четверти оставалось на доньшке Жмых допивал молча один и говорил:

— Приехали! Слава тебе, господи, уцелел! Мавра, — кричал он жене, — встречай гостя, — и вылезал из телеги, в которой сидел уже четвертый день. После этого Жмых не пил с полгода, потом снова ехал в Москву.

Вот какой у нас Жмых: мужик, что надо, но мощного разума человек!

* * *

Позже, в революцию, он совсем остепенился:

— Сурьезное, — говорит, — время настало! Ходил на фронте красноармейцем, Ленина видал и всякие другие чудеса, только не все подробно рассказывал:

— Не твое дело, — говорит.

Воротился Жмых чинным мужиком.

— Будя, — говорит. — Пора деревню истребить!

— Как так, за што такое? — спрашивают его мужики. — Аль новое распоряжение такое вышло?

— Оно самотеком понятно, — говорил Жмых. — Нагота чертова! Беднота ползучая! Што у нас есть? — Солома, плетень да навоз! А сказано, что бедность — болезнь и непорядок, а не норма!..

— Ну и што ж? — спрашивали мужики — А как же иначе? Дюже ты умен стал!

Но Жмых имел голову и стал делать в своей избе особую машину, мешая бабьему хозяйству. Машина та должна работать песком — кружиться без останову и без добавки песка, которого требовалось одно ведро. Делал он ее с полгода, а может и больше.

— Ну, как, Жмых? — спрашивали мужики в окно. — Закрутилась машина? Покажь тогда!

— Уйди, бродяга! — отвечал истомленный Жмых. — Это тебе не пахота — тут техническое дело!

Наконец, Жмых сдался.

— Што ж, аль песок слаб? — спрашивали соседи.

— Нет — в песке большая сила, — говорил Жмых, — только ума во мне не хватает: учен дешево и рожден не по медицине!

— Вот оно што! — говорили соседи и уважительно глядели на Жмыха.

— А вы думали што? — уставлялся на них Жмых. — Эх вы, мелкие собственники!

* * *

Тогда Жмых взялся за мочливые луга.

И действительно — пора. Избыток народа из нашего села каждый год уходил на шахты, а скот уменьшался, потому что кормов не хватало. Где было сладкое разнотравие — одна жесткая осока пошла. Болото загоняло наше Гожево в гроб.

* Тогда еще господа были: дело довоенное. — *Прим. Автора*

То и взяло Жмыха за сердце.

Поехал он в город, привез оттуда устав мелиоративного товарищества и сказал обществу, что нужно канавы по лугу копать, а саму Лесную Скважинку чистить сквозь.

Мужики поломались, но потом учредили из самих себя мелиоративное товарищество. Назвали товарищество «Альфа и Омега», как указано было в примере при уставе.

Но никто не знал, что такое Альфа и Омега!

— И так тяжело придется — дернину рыть и по пузо копаться, — говорили мужики, — а тут Альфия. А может она слово какое законное, а мы вникнуть не можем и зря отвечать придется!

Поехал опять Жмых — слова те узнавать. Узнал: «Начало и Конец» — оказались.

— А чему начало и чему конец — неизвестно? — сказали гожевцы, но устав подписали и начали рыть землю: как раз работа в поле переমেжилась.

Тяжела оказалась земля на лугах: как земля та сделалась, так и стояла непаханая.

Жмых командовал, но и сам копался в реке, таская карчу и разное ветхое дерево.

Приезжал раз техник, мерял болота и дал Жмыху план.

Два лета бились гожевцы над болотами и над Лесной Скважинкой. Пятьсот десятин покрыли канавками, да речку прочистили на десять верст.

И, правда, что и техник говорил, луга осохли.

Там, где вплавь на ладье едва перебирались, на телегах поехали — и грунт, ничего себе, держал.

На третий год все луга вспахали. Лошадей измаяли вконец: дернина тугая, вся корневищами трав сплелась, в четыре лошади однолемешный плужок едва волокли.

На четвертый год весь укос с болот собрали и кислых трав стало меньше.

Жмых торопил всю деревню — и ни капли не старел ни от труда, ни от времени. Что значит польза и интерес для человека!

* * *

На пятый год травой-тимофеевкой засеяли всю долину, чтобы кислоту всю в почве истребить.

— Мудер мужик! — говорили гожевцы на Жмыха. — Всю Гожевку на корм теперь поставил!

— Знамо, не холуй! — благородно отзывался Жмых. Продали гожевцы тимофеевку — двести рублей десятина дала.

— Вот это да! — говорили мужики. — Вот это не кроха, а пища!

— Скоты вы! — говорил Жмых. — То ли нам надо? То ли Советская власть желает? Надобно, чтоб роскошная пища в каждой кишке прела!..

— А как же то станется, Жмых? И так добро из земли прет! -отвечали посытевшие от болотного добра гожевцы.

— В недра надобно углубиться! — отвечал Жмых. — Там добро погуще! Может, под нами железо есть, аль еще какой минерал! Будя землю корябать — века зря проходят!.. Пора промысел попрочней затевать!

— В нутро, это действительно, — ответил Ёрмил, один такой мужик. — Снаружи завсегда одна шелуха!

— Ну ясно: пух и прыщи! — подтвердил Жмых. — А прочное довольствие в нутре находится!

— Да будя, едрена мать, языки чесать! — с резонем выразился Шугаев, ходивший в председателях. — Нам теперча сепараторы надо завести, а то продукт сбывать нельзя, а тут сухостойным делом занимаются: как бы поскорей в нутро забраться! Вот ляжешь в могилу — тогда там и очутишься!..

Лесная Скважинка сипела в русле, и пахучие пространства говорили о прелести сущей жизни.

ДУША ЧЕЛОВЕКА — НЕПРИЛИЧНОЕ ЖИВОТНОЕ **(Фельетон о стервецах)**

1. Рассуждение о сути дела

Фельетон — это, в сущности, маленький манифест только что рожденного не по своей воле бандита, а по воле своих свах и бабушек: «исторической необходимости», «естественного хода вещей», «действительности» и прочих старых блудниц и гоморрщиц. Причем иногда, и чаще всего коммунист, вдруг ощущает себя как бандита и в сердце его радостно и свободно начинает выть справедливый чудесный зверь. Такой «коммунист» кажется всем неприличным: у него оголилась душа, он начинает смеяться, надевает обыкновенные штаны и уходит «домой» — в цех.

— Товарищ! — говорят ему. — Надо жить только в гостиных и залах души. А ты живешь в клозете. Опомнись, брат. Не смотри чертом... Не собирай нищих за городом. Ты думаешь, они способны направить революцию. Нет, брат, оставь; не тряси штанами нищими, мы и брюки видали...

И они замолчали. Другой, что говорил, ушел. Остался один, у кого в сердце зверь и душа свободна от белья и сапогов приличий. Он видел остро и радостно. Его тело скрипело под напором крови и горело, как огнедышащий вулкан. В голове танцевали четкие фигуры развратных мыслей. Он был один, один — с неисчислимыми массами неведомых, идущих к нему товарищей, решивших взорвать мир без определенной цели, без программ и политики, а ради самих себя, ради своей страсти к невозможному...

Он увидел весь мир во всем его приличии и свою душу во всем ее неприличии. Первое дело он снял шляпу жизни — жену — и отпустил ее домой, в деревню. Пусть песни вечером поет. Он и песню для нее сочинил и посвятил ее ей.

Теперь он глядел на старую жабу — действительность, — и от ее мелочей у него нутро затихало.

Он же был динамитом действительности и радовался своей справедливости.

Подойдет его время. Пока же он и спит, и обедает в клозете жизни — своей душе.

Он знал одно: эти мелочи — вся истина жизни. Идеал, дух и прочие юбки старых дев — это суть только заблуждающаяся материя.

2. Революционер в полном облачении

Площадь. Красные войска, рабочие, женщины, дети. После дождя вся земля под стеклом. Гремит и движется под солнцем живая революция. Никто не верит, что есть невозможное.

Парад. Черные чертики — фотографы — снимают пролетариат. Люди в полном облачении, т.е. галифе, нагане, коже и т.д., устанавливают порядок, чтобы было приличное лицо у революции.

К суесящейся хохочущей толпе, повторившей на квадратной сажени Октябрь, подскакивает официальный революционер, бритый и даже слегка напудренный. Так чуть-чуть, чтобы нос не блестел.

— Осади, осади назад — говорят вам.

Рабочие и женщины осадили. Они вполне поняли, революция затихла. Галифе скакнуло дальше.

Революция сменилась «порядком» и парадом.

3. Мертвые души в советской бричке

Едет советская бричка. В ней солидный мужчина, разбрюзгшая на ворованных харчах барыня, кучер и кобелек.

Это едут по всем мостовым, улицам и переулкам мертвые души в советских бричках. Едут и едут, никак не доедут. А ведь, доедут — придет время. Доедут до рабочего ада, и им там воткнут железный шток сквозь пупок. Мечутся мертвые тени в живых городах и ждут они страшного суда, рабочей расправы.

4. Необъяснимые чудеса

Чудеса эти — беременные мужчины, которые идут домой с мельниц. Стражи у ворот следят.

— Ты куда?

— Домой, кончил.

— Ага, кончил. Открой рот... Ну, проходи.

Или там.

— Даешь?

— Берешь.

— Проходишь.

В селе Лупцеватом объявилась икона божьей матери-троеручицы.

А у нас чудеса еще почище — мельники, солидные приличные мужчины, по вечерам беременеют и еле доходят с работы домой, где и опоражниваются.

5. Резюме

Один рабочий объяснил это слово так:

— Режь умней.

А другой ему ответил:

— Ничего, глотай без ножа. Суй пальцем.

ЗАМЕТКИ

В полях

Я шел по глубокому логу. Ночь, бесконечные пространства, далекие темные деревни, и одна звезда над головою в мутной смертельной мгле... Нельзя поверить, что есть города, музыка, что завтра будет полдень, а через полгода весна. В этот миг сердце полно любовью и жалостью, но некого тут любить. Все мертво и тихо, все — далеко. Если взглядишься в звезду, то ужас войдет в душу, можно зарыдать от безнадежности и невыразимой муки — так далека, далека эта звезда. Можно думать о бесконечности — это легко, а тут я вижу, я достаю ее и слышу ее молчание, мне кажется, что я лечу и только светится недостижимое дно колодца и стены пропасти не движутся от полета. От вздоха в таком просторе разрывается сердце, от взгляда в провал между звезд становишься бессмертным.

А кругом поле, овраги, волки и деревни. И все это чудесно, невыразимо, и можно вытерпеть всю вечность с великой, невероятной любовью в сердце к тому пропавшему навсегда страннику, который прошел раз мимо нашего дома летним вечером, когда пели сверчки под завалинками. Странник прошел, и я не разглядел ни его лица, ни сумки, и я забыл, когда это было, — мне было три, или семь лет, или пятнадцать. Сердце навсегда может быть пораженным похилившейся избенкой на краю деревни, и ты не забудешь, не разлюбишь ее никогда, каким бы ты мудрым и бессмертным ни стал, куда бы ни ушел. Я и на Солнце, и на Сатурне не забуду этого лога, этой ночи и смертной тишины. Все мне дорого, ничего нельзя забыть и оставить; и каждой рытвине, каждому столбу и далекому человеку, пропадающему на дороге, я говорю: я возвращусь. Всякий человек имеет в мире невесту, и только потому он способен жить. У одного ее имя Мария, у другого — приснившийся тайный образ во сне, у третьего — печная дверка или весенний тоскующий ветер. Я знал человека, который заглушал свою нестерпимую любовь хождением по земле и плачем. Он любил невозможное и неизъяснимое, что навсегда рвется в мир и не сможет никогда родиться.

Я сейчас вспомнил этого человека и должен его встретить в этом логу. Вон — далекий огонь. Костер или хата. Я озяб, изголодался, пойду поговорить с людьми и увидеть между ними того, вспыхнувшего в сердце человека.

Бог человека

Самый старый и настоящий бог на свете — пузо, а не subtilный небесный дух. В водовороте и горенье кишок — великая тайна, в рычании газов слышатся святые песнопения и некое благоухание и тихое умиротворение.

Живот — храм человека, живот — обитель радости и человеческой доброты. Пузо — воротило всех дел. Все другое и остальное растет из пуза и им направляется — по верным путям спасения. Без пуза погибать бы всем.

Вся земля только и движется пузом, ибо, когда стонут и поют кишки, человек делается чудотворцем.

Он, к примеру, сделает машину и начнет ею колотить горы, чтобы правильнее ветры дули и лились дожди, он еще возьмет и узнает, как сделалась земля, чтобы ее переделать, а без пуза ничего бы он не сделал, ничего бы не нужно ему было, потому что человек думает и работает от мучения, а мучение бывает, когда визжат кишки.

Вот, для показа, как идут дела в царстве живота. Шел я по большому селу. Стоят хаты, стоит тишь, бабы в окна поглядывают (старые стервы!), дремлет и замирает отощавшая лошадь у плетня. Милая моя, ты чище и грустнее человека: голодная почти до смерти, а стоишь, мужик бы бабу начал колотить, ребят пороть и сейчас же выдумал бы небесного бога — спасителя, а ты молчишь. Спасибо тебе, лошадь, ты одна не имеешь богов, а без богов живут только сами боги.

Вон мужик шел-шел и остановился, уставился на меня и глядит, а баба его аж через плетень свесилась, и оба кротко молчат. Хорошие они, в сущности, люди — живут по-лошадиному.

На одном окне я заметил наклейку. На удивительно чистом и большом листе бумаги были изображены слова: вот тут, апосля вечернего благовестия, в брехунах, за одну картошку каждый сможет узреть весьма антиресную лампаду — стоячий лепестрический огонь, свет святой, но неестественный, можно сказать, пламя. Руками его щупать будет смертоубийство...

Дальше на листке были длинные рассуждения, целый циркуляр с пунктами о том, откуда на земле свет, и почему бывают волдыри от ожогов, и где живет Ананьевна, заговаривающая всякое пупырчатое тело. А в самом низу было экономически причерчено: — А на Покров феклуша Мымриха пойдет телешом и снимет капоты для удовольствия и покажет живое тело за одно денное прокормление...

ЕРИК

Жил на этом свете в Ендовищах один мужик по названию Ерик. Человек он был молодой, а сильный и большой. Бабы не имел и чего-то то и дело чхал.

Не было веселее Ерика на свете: никогда в нем не сокрушалась душа и не скорбело сердце. По этому миру Ерик был как раз впору.

Шли по улице мужики, и шел им навстречу Ерик и чхал.

— Во, корежить его, — говорили мужики, — должно, воздуха в душу не пролезают. Дух не по ем.

— Да. Должно, так... Дерет его чох, поди ж ты!

— Такой уж чудотворный человек.

А Ерик любил дышать, любил всякий дух и чхал для потехи. Радость он чуял во всем и на все отзывался.

Занимался он многими делами — пахал, думал, ходил по полю и считал облака. К вечеру он ворочался на деревню и шупал девок. Ерик не верил ни в Бога, ни во врага. «Все человечье, — думал он, — и нет у земли концов. Что захочу, беспременно сделаю. Захочу скорбь произведу, захочу радость».

И Ерик, правда, делал многие дела и был душевный человек, хотя и жил один без бабы, как супостат, и приплясывал, когда звонили к обедне.

Раз приходит к нему враг рода человеческого и говорит:

— Хошь, я тебя научу людей из глины лепить?

— Давай, — сказал Ерик.

— А что дашь?

— Лапоть.

— А еще чего?

— Чего ж еще: бери вон корчажку, чуни, юбку... Не обижу, не бойсь.

— Да ладно уж, вижу, — сказал враг и научил Ерика людей лепить из глины, из земли и всякой пакости, если ее наслюнявить.

Наделал Ерик людей целый полк и распустил их по всему пузу земли искать у нее четырех концов. Разошлись вражьи и Ериковы дети и пропали: ни слуху ни духу. И Ерик уж позабыл их и принялся за новое дело — задумал небо проломить и голову в дырку наверх просунуть и поглядеть — есть там Бог иль спрятался.

Ходил он опять по полю под облаками и думал обо всем — отчего так хорошо на свете, когда ничего тут нету хорошего и все дела известны. Ночью небо ближе и глядят с него звезды — змеинные глаза. У девок по вечерам сиськи распухают и слезы на глазах.

Отчего еще глаза у них похожи на озера, когда на дне туманом ходят небеса. Колдуны и старухи говорят, что у святых в глазах звезд больше, чем на небе.

Ведьма, дурья голова, — в глазу одна звезда, зато она добрее всей звериной бездны наверху.

С мужиками Ерик водился по-братски — они чуяли друг в друге человеков и не смущались, что жили как брошенные, одни в своей деревне без всего света. Из каждой хаты видно небо, а с неба виден весь свет. И в тихую ночь можно слышать все голоса, как перекликаются люди друг с другом по земле.

И прошел раз слух: объявились гдей-то вражьи дети и выворачивают будто пузо земли наружу кишками и печенками. Всю пакость нутрянную будто даром показывают всем на потеху и утешение. Отреклись они от Бога и врага рода человеческого, опередили их и задумали переверотить мир и показать всем, что он есть пакость и потеха... Нужно, дескать, самим сделать другую землю сначала.

Заухмылялся Ерик с народом: Бог с врагом — давно други и сватья, ад с раем всегда перекликаются. И хоть вражьи дети задумали дело такое, да сами-то на врага не похожи — не то хуже, не то лучше.

На Егорьев день появилась на небе прорубь, высунулась оттуда насмешливая голая голова и опять спряталась.

— Ах, враг тебя нанюхай! — хохотали мужики.

Вечером девки пошли хороводом и пели до полночи над прудом. Ждали других женихов, не своих ребят с оголтелыми рожами.

Дней через пять обломилось небо и выворотилась земля. Полилась отовсюду пакость и нечистота. Все увидели, что такое был белый свет, и насмеялись над ним.

Мир кончился потешением и радостью. Земля и небо оказались пакостью, курником и никому не были больше надобны. Ериков полк наделал делов.

Ночью все пропало, и очутились люди близко друг к другу и остались навсегда одни.

Воротились с пустыми руками пастухи и вдарили в жалейки. Одно дело кончилось, а другое началось.

ТЮТЕНЬ, ВИТЮТЕНЬ И ПРОТЕГАЛЕН

Тютень человек не велик, с кочережку. Зимой и летом он носит варежки, сердцем добер, словом зол; в одном ухе мотается египетская серьга, шею он обматывает полотенцем или тряпochкой почище: лицом коричневый, глазами ехиден и весь похож на стервеца.

— На глазах испекешься, — говорили бабы, у кого грудной был.

Тютень вечно свистел на ходу, и всякая птица шарahalась от него или летела по плетням. Если вились стайкой воробьи, неслись вскачь галки, горлапанили петухи, а наседки крылепились, — то-то идет, значит, Тютень, идет и посвистывает.

Он клал варежку в рот и свистел для своего великого удовольствия и не дулся.

Если сказать Тютню: посвисти, мол, в худую варежку чуток, то он догонит и убьет, будь ты мал, будь ты стар. Убежишь — твое счастье.

Тютень считал себя Богом и потому был покоен, доволен и благ. На еду он не зарился, мир считал подножием своим, небо — короной, а людей — чертями. Сатаной же Тютень считал Витютня.

— Он, беспрременно он, головастый кобель, — думал Тютень и высвистывал стих:

Он, он, суть он,
Беспрременно суть он,
Головастый кобель,
Воедин, воедин,
Воедин я бог кокетин.

Витютень был так себе человек, ростом с черпак, ведро на палке. Ведро — это голова.

— Это не человек, а наказание, истинный Господь, — судили бабы, которых мало били мужа.

Витютень слышал: ладно, ладно, жабы широкие. Возьму вот, и покажу всем, что ты без исподней юбки ходишь, ведьма божья.

Витютень ходил голый, только живот обматывал рогожей, чтобы бабы не охальничали. Волоса он распускал и накладывал туда от времени до времени комья соломы и навоза — думал, может птицы заведутся, его любимая тварь, сочтут это за гнездо; но никак того не случилось.

Считал Витютень себя пророком всякой последней, гонимой, ненавидимой всеми и пожираемой твари — червей, мошек, рыбок, травы и таящих облаков, ибо и они пожираются в небе ветром.

Глаза его были велики, с поспевший чеснок, и в них горела неутомимая безумная любовь ко всем последним и растоптанным. Ходил он по земле и пел молитвы голубой траве и всякой трепещущей, дышащей твари, живущей один день, радостной и кроткой, познавшей все, ибо нечего тут познавать. Двигается мир в свете солнца, и не может он тосковать; движутся живые по земле, и ни один не верит смерти. Один Витютень за всех все знает и скорбит. Но когда он видит божью коровку, он поет:

С дубу, с дубу, с дубу
Да опять на пень.

В песне не нужны слова, а нужна радость. Слова Витютень сочинил так, лишь бы что сказать, а пел он душой.

Раз встретил он ребятишек у леса. Встретил, напугал и долго им говорил о грядущем царстве последней твари, которая вскоре восстанет и победит все силы, ибо она кротка и тиха, знает мир, потому что любит его и не верит смерти.

— Не будет тогда больших и умных, будут одни малые и разумные, будут одни полюбившие. И листья на деревьях больше бога, который хуже сатаны. И листья ропщут только от злодея ветра, в сердце же своем они кротки и сыты самым малым.

Идет вечное царство, голубая земля нищих, умерших, позабытых. Будет всем светить не солнце, а сердце другого, ты — мне, я — тебе... Большие жрут всех и оттого дохнут и уничтожаются. Они едят падаль, а падаль — их. Но вот малые, самые последние, меньше песчинок, те уже ничего не едят и ничего не хотят, смотрят без зависти и без желания на другого, в тех одних бьется настоящая жизнь, и они без слова и борьбы завоюют мир, и царство малых будет без конца и без смерти...

Витютень от радости кричал: вы еще ребята, вы малые среди людей и вы возьмете себе человеческое царство. Так и там, малые миры возьмут себе мир. Самый малый, самый гонимый, никому не ведомый, молчащий, не рожденный, тот, для кого и песчинка — бог, тот истинный царь земли и всех звезд, потому что он последний царь, после него никого не будет, и потому он самый великий...

Был Христос, ему и сейчас еще молятся ваши отцы, он говорил: блаженны нищие духом. Но и он не понимал всего и не хотел умирать, когда умирают без слова вечером мошки, а каждая из них блаженней Христа, потому что беднее его духом.

Ребятишки сидели ни живы, ни мертвы. Сеня совсем поник и заплакал.

— Милый мой, — сказал Витютень и не спеша пошел дальше.

Так он ходил, говорил с людьми, за маленькими искал еще меньших, чтобы им втайне поклониться.

Есть червь, есть мошка, травка, листок, пылинка, но за ними есть еще меньшие, самые тихие и безгласные, и их искал и любил Витютень еще больше.

Витютень был рад своей радости, как и Тютень.

Тютень же хотел избить Витютню; нету царя кроме бога, бог же есть он, а Витютень — главный черт, раз не видит бога в Тютне.

Вот какое дело. Но жили они в разных деревнях, хоть и по соседству, а никак не встречались.

А в том селе, где жил Тютень, жил глубоко под землей Протегален.

Сорок лет назад родила его мать в овине, думала, что глист вылезает, глядь — ребенок. Это родился Протегален. До того он худ и длинен был, что мать звала его веревочкой, ветошкой,

срамотой своей, на все лады, но не Ваней. А подрост Ваня, и прозвали его Протегальнем, а кто Тощей Верстой.

Был он ни велик, ни мал, а ходил крючком — цеплял за все, головой колотился и мешал навесам и потолкам. Людей для смеха Протегален под ногами пропускал.

Стало ему лет тридцать, а он все рос и сох, и всем был он не в моготу. Если бы сажень-полторы был Протегален, а то четыре, и зол, как черт. Ни работает, ни помогает, ходит деревья ломает и озера голеньями меряет.

Пожил-пожил он, походил-походил и начал вдруг думать.

Потом нашел овраг поглубже и поглуше, выкопал в глине пещеру, набросал туда травы, наложил картошек на зиму с чужого поля и залез туда сам. Так он оттуда больше и не вылез.

Сидел согнутый в три погибели, не двигался и не говорил — не то дремал, не то думал.

Но Протегален не думал, не дремал, а переселился в другие края, себе по душе.

Края те просторные и пустынные и окружены черными горами. Эти горы выдолблены, и внутри их живут великаны, как в землянках.

Светит неподвижное большое солнце, нет там ночей и вечеров. Тихо кругом, спят великаны в землянках, поле везде без травы, и стоит посреди того мира Протегален — и хорошо ему: век бы стоял, он и стоит.

Тишина есть песня истины. И Протегален стоял в земле тишины, очарованный и бессмертный. В душе его пела музыка, и он умирал от безысходной одинокой радости. Спали в горах великаны, стояло солнце на небе, и сгорал сам Протегален в синем краю тишины и полей. Шевелилась душа в нем, как живая змея, и он знал, что умирает, уплывает земля под ногами, и было ему все лучше и лучше, будто уносила его большая река от берегов.

Сидел в пещере согнутый Протегален и умирал от своих радостных дум, которые сделали ему другую жизнь.

Ходил недалеко Витютень по полю, и сидел в деревне своей на завалинке Тютень.

Среди сухого лета набралась в небе испарина, загудела гроза — и вдарил ливень.

Шел в поле Витютень, прыгнул от дождя в овраг и залез нечаянно в пещеру Протегальня. Пахал недалеко Тютень, измок, как хрюза, сигнул тоже в этот овраг, увидел, торчит чья-то из ямы спина, а по ней дождь лупцует, и полез следом.

— Сторонись, отец, дай богу дорогу, — прохрипел Тютень Витютню. Витютень прилепился к стенке, и Тютень пролез глубже.

-- Ну, и дела, — сказал Тютень, — бузует по чертям сатана, и шабаш.

Сразу стемнело, и ни один из трех не узнал друг друга. Ливень поливал все сильнее и сильнее, гром не гремел. Овраг заливало водой. Протегален ничего не видал и не слышал. Витютень уснул, а Тютень был бог, и мир для него был дым, и он ничего не боялся. Давно по нем бледнело и тосковало небо.

Гнулись деревья, как хворостинки, от ливня, люди залезли на печки. На тысячи верст гремел ливень и не было ни живой души нигде. Овраг давно заровняло водой, а Протегален еще видел тихий край и черные горы.

Чуть дышал сонный Витютень и шептался во сне.

Тютень весь скочережил за спинами Витютня и Протегальня, затих, но чуял, что он бог, и слушал, как шевелится у него глист в животе и бьется кровь под пупком в подводной темной тишине.

Потухал весь белый свет, и неслись по небу горы, мужичьи бороды, божьи коровки и последние стынувшие каменевшие облака.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАКЛАЖАНОВА (Бесконечная повесть)

*«Тянется день, как дратва: скука бычачья.
Рассказать тебе про дни?»*

Апалитыч

1.

Жил некоим образом человек — Епишка, Елпидифор. Учил его в училище поп креститься: на лоб, на грудь, на правое плечо, на левое — не выучил. Епишка тянул за ним по-своему: а лоб, а печенки...

— Как называется пресвятая дева Мария?

— Огородница.

— Богородица, чучел! Нету в тебе уму и духу. Вырастешь, будешь музавером, абдулгамидом...

А Епишка ждет не дождется, когда пустят домой; он горевал по маме и боялся как бы без него не случился дома пожар — не выскочат жара, ветер, сушь. Уж гудок прогудел — двенадцать часов, отец домой пришел обедать, на огороде у Степанихи трава большая растет и лопухи. Ребята ловят птиц, уж скоро, должно быть, будет вечер и комары.

В училище стояло ведро — пить. Каждый день учат закону божьему, потом приходит Аполлиария Николаевна, учительница, и пишет палочки на доске, а Епишка за ней карябает грифелем у себя хворостины. На переменах приходит Митрич-сторож, чтобы ребята не выбили окон и не бесчинствовали. Как чуть кто заплачет от драки или тоски по матери, Митрич орет:

— Ипать! Заниматься!..

И вот прошло много дней. Издох в училище на дворе Волчок. Епишкин отец купил «на толпе» другой самовар. Родился у Епишки Саня, маленький брат. Покатал его Евдок на тележке одно лето — на Петровки он умер от живота. Тоньше и шибче билось сердце у Евдока, и он уходил летними вечерами в поле и тосковал — о далеком лесе, об одной звезде, о дальних деревенских пустых дорогах. И любил девушку, которой не было на свете, которой не встретит никогда.

На деревенских дорогах он изобрел еду и человеческое бессмертие.

Вскоре попал Епишка в солдаты. Ходит по плацу, орудует винтовкой — лежит недвижимо в душе пуд. Раз случилось с ним странное дело: семь дней на двор не ходил. Ляжет спать: бурчит в животе и вода без толку переливается. Кругом нары, храп, пот, вонь, а в Епишке прохладные вечерние деревенские дороги и ждущая ужинать мать. Дать бы по скуле изобретателю сердца!

Осмелился Евдок и пошел к доктору. Рассказал ему, в чем дело.

— Што-о?.. — провыл доктор.

Епишка опять: восьмой день не нуждаюсь.

— Да, ведь большие деньги можно на этом зарабатывать! Вы феномен, Баклажанов!.. Первый раз вижу такого. А ну, разденьтесь.

Уходя, Епишка взялся нечаянно на докторском столе за карандаш.

— Возьмите себе его на память, Баклажанов, — сказал доктор. Епишка погладил черный колпачок доктора.

— Пожалуйста, Баклажанов, возьмите и его. Нате вам и ручку. Она вам нравится?

Оказывается, доктор был мнительный человек: дверную ручку брал не иначе, как в перчатке. Кто у него в кабинете возьмет что в руки или пощупает, то ему доктор сейчас же и подарит на память: лампу, лист бумаги, клоч ветоши, либо какой инструмент.

Странный, но сурьезный был человек.

Дня через два у Епишки рассосались кишки, и он оправился.

Так шла и шла жизнь Епишки, без меры и без смерти, в океане одинаковых дней, пока он не перекувырнулся и не изобрел настоящего бессмертного человека, который остался на земле навсегда и уже не расставался с соломой, плетнями, тихими дорогами и со своей матерью.

2. Изобретатель света — разрушитель общества, сокрушитель адава дна

*Мир подымешь на слабые руки,
Что захочешь, полюбишь — твое.
Ты испуган, слова твои глухи,
Ты — любовь, твое сердце в моем.*

Еще ночь. Успокойся, мое неутомимое сердце. В этот час даже пустыня росой стынет, трава не шумаркнет и ветер не пробрюжжит. Замертвел мир на долгую звездную ночь. Может быть, завтра очнется сердце в человеке и земля растает в голубой глубине любви.

Дорогой друг мой и единокровный брат Елпидифор! Помнишь, осенней ночью, в 3 часа, мы лежали в поле на траве. Мы прошли сорок верст. Ты шел из далекой глухой деревни от любимой, я ходил просто по земле и думал, как ее оборонить от зноя. Ты тогда светился, и был иным и лучшим...

Теперь Епишка изобрел свет. Устроил такие магниты, где дневной свет волновал магнитное поле и возбуждался электрический ток. Этим током Епишка гнал самодельный корабль по родной реке. Солнечный свет и лунный повез в первый раз чудака-человека по воде.

С тех пор никто ни в ком не стал нуждаться: Епишка показал всем, как делать такие машинки, и все стали богатыми. Ни засуха, ни сибирские дороги, ни путь до звезды, ни миллионы родившихся детей — не стали страшными. Неуклонно тысячами солились огурцы в зиму и варилась каждодневно говядина в каждом горшке. Огромная сырая земля стала, как теплая хата, как грудь и молоко жены. Обнимай и соси.

И небо стало благим: инженер Аникеев слетал на световом межзвездном корабле на Юпитер и привез оттуда новую породу капусты и какого-то чертенка в ящике. Чертенки обжились на земле и женились на какой-то синеокой деве, поющей романсы времен революции.

Ни государств, ни обществ, ни дружбы, ни любви на земле уже не было: человек человеку был нужен единственно по недостатку хлеба. Каждый втыкал в песок Епишкину машину — и она ему делала все.

Один араратский житель сделал подземную лодку, и сила Епишкиной машинки вогнала ее в недра земли, и араратец там пропал, поселился.

Машина Елпидифора Баклажанова отперла вселенную: она стала женой и матерью для человека, а не лютой чертовкой. Сам Елпидифор с Апалитычем ездил на луну выпивать. Вселенная стала кувшином с молоком: купайся, живи, питайся и думай всякий червь, всякая гнида и бессмертное тело. Потолстел человек. Вся вселенная стала океаном силы, ибо свет — самая вездесущая сила, кроме тяжести, тяготения.

Но свет есть только один из видов тяготения. Электричество есть возмущение линии тяготения двух тел.

Пожил, пожил Елпидифор и подумал: не умру. На далекой безымянной звезде, куда он занесся, он увидел конец Вселенной; Епишка стоял точкой на конце последнего оборота спирали Млечного Пути. Дальше ничего не было видно, и Епишка пожалел, что он человек, и захотел

быть бессмертным, чтобы иметь время накопить силу стать завоевателем и жителем того, чего не видно за последней маленькой звездой, за змеевиком Млечного Пути.

Епишка возвратился на землю, посидел с Епалитычем — тот клеил змей для Васьки, — поговорил с ним о разных удивительных вещах и пошел в чулан спать от тоски. (У Апалитыча еще был чулан от старых времен и были целы и невредимы в нем теплые и полные клопы.)

Новое чувство родилось в Елпидифоре. Знаете, как в былые времена: идешь по улице, навстречу красивая ласковая девушка, волна тревоги и радости охватит тебя, — придешь домой и молчишь.

Но в Епишке не любовь была, а мрак и шорох великой, но безрукой силы.

Эта сила из Епишки разлилась по всей живой земле и по людям. Стальной канат свис с далекой безымянной звезды, где побывал Епишка, и не давал живым телам разлагаться и перепревать в душных могилах.

И было сокрушено далью за безымянной звездой адово дно смерти.

А через сто лет Епишка и Апалитыч лежали опять в чулане на полушубке: за последней звездой оказалась свобода — ничего нет — чудо: возникает, мерцает, пропадает, вихрится и снова плывет без числа, веса и пространства. И вселенных там было сколько хочешь — и все разные. Там была река их. Оказалось, что не было нигде господина и закона; но закон, господин, форма были только мигами невыразимой свободы, которая была и неволей.

Заснул Елпидифор под утро под храп и вонь Апалитыча. Апалитыч проснулся от клопа в ухе, а Епишка так и не встал — умер от собственного спокойствия: ведь все доконал, до всего дознался. Апалитыч снес под плетень в полдень тело этого последнего мошенника и стервеца.

ПОТОМКИ СОЛНЦА

Я сторож и летописец опустелого земного шара. Я теперь одинокий хозяин горных вершин, равнин и океанов. Древнее время наступило на земле, как будто вот-вот двинутся ледники на юг и береза переселится на остров Цейлон.

Но кратко и бессмертно над головою голубое небо, спокойно и ясно мое сознание, тверда и могущественна моя многовидевшая человеческая рука: я не позволю совершиться тому, чего я не хочу, за мной века работы, катастроф и света мысли. Вверху, на движущихся звездах, земное мое человечество — странник и мыслитель. Передо мною Средиземное море, жалкие организмы, тепло и ровный скорбящий ветер.

Древняя любимая земля. Сколько пережили мы с тобою битв, труда, сказок и любви! Сколько моей мысли ушло на твое обновление! Теперь ты вся — мой дом. Дуют ровные теплые ветры, по указанным человеком путям, курсируют в океанах теплые течения. Прорваны галереи для воздушных потоков в горных цепях. Горячий туркестанский вихрь с песком несется к Северному полюсу. Давно разморожены льды обоих северных океанов и совершены все великие работы, осуществлены все глубокие мечты.

На земле стало тихо, и ночью мне слышен ход звезд и трепет влаги в стволах деревьев.

Нет больше катастроф, спазм и бешенства в природе. И нет в человеке горя, радости, восторга — есть тихий свет сознания. Человек теперь не живет, а созидает. Сознание. Всю жизнь я служил тебе в рядах человечества, и твоею силою теперь люди перенаселились на далекую звезду и с нею движутся по вселенной.

1924 год. В этот год в недрах космоса что-то родилось и вздрогнуло — и земля окуталась пламенем зноя. Северные сияния полыхали над Европой, и самые маленькие горы сделались вулканами. Оба магнитные полюса стали блуждать по земле, и корабли теряли направление. Это, может быть, комета вошла в наш звездный рой и вызвала это великое возмущение.

В зиму 1923-24 г. замерзло Средиземное море и совсем не выпало снега, только морозный железный ветер скрежетал по пространству от Калькутты до Архангельска и до Лиссабона. И жили люди в смертельном ожидании. Во всю зиму ни тучей, ни туманом не запятналось небо. Исчезло искусство, политика и под кувалдой стихий перестраивалось само человеческое общество. Нация, раса, государство, класс — стали дикими бессмысленными понятиями — остались одни несчастные и герои. Несчастные бросились в церкви, в искусство, в наслаждение духом; герои ополчились на мир, против расплывшейся материи. Этими героями были не одиночки, а огромные коллективы — коммунистические партии и огромные куски рабочего класса и молодежи.

Социальная революция совершилась быстро, всесветно и без страданий, ибо встала вторая задача — восстание на вселенную, реконструкция ее, переделка ее в элемент человечества — и эта новая, великая и величайшая революция одним своим преддверием, одним дыханием, выжигающим все бессильное и ошибочное уже истребила гнилые мистические верхи человечества, оставив лишь людей без чувств, без сердца, но с точным сознанием, с числовым разумом, людей, не нуждающихся долго ни в женщинах, ни в пище и питье и видящих в природе тяжелую свисшую необтесанную глыбу, а не бога, не чудо и не судьбу.

Остались люди, верящие в свой мозг и в свои машины — и было просто, тихо и спокойно на земле, даже как-то чисто, все видели опасность, но не дрожали от нее, а сгрудились, соорганизовались против нее. Получилось так: все человечество и вся природа — враг против врага, а между ними толстым слоем машины и сооружения.

Человечество видело, сознавало, думало, изобретало и завоевывало себе жизнь через завоевание вселенной. Машины работали и лепили из корявой бесформенной жестокой земли дом человечеству. Это был социализм.

Глубокое, тихое, задумавшееся человечество. Гремящая, воющая, полная концентрированной мощи, в орбите электричества и огня армия машин, неустанно и беспощадно грызущая материю.

Социализм — это власть человеческой думы на земле и везде, что я вижу и чего достигну когда-нибудь.

Из племен, государств, классов климатическая катастрофа создала единое человечество, с единым сознанием и бессонным темпом работы. Образ гибели жизни на земле родил в людях целомудренное братство, дисциплину, геройство и гений.

Катастрофа стала учителем и вождем человечества, как всегда была им. И так как все будущие силы надо было сконцентрировать в настоящем — была уничтожена полая и всякая любовь. Ибо если в теле человека таится сила, творящая поколения работников для длинных времен, то человечество сознательно прекратило истечение этой силы из себя, чтобы она работала сейчас, немедленно, а не завтра. И семя человека не делало детей, а делало мозг, растило и усиливало его — этого требовала смертельная эпоха истории.

Так было осуществлено целомудрие, и так женщина была освобождена и уравнена с мужчиной. Раньше женщина работала слишком тяжело — творила творца, — чтобы быть равной мужчине, ибо он был лодырь по сравнению с ней и имел больше органических сил поэтому.

Но люди неутомимо шли к высшей форме своего единения и знали, что, пока человека с человеком разделяет не раздавленная не покоренная до конца материя, этого единения не может быть.

Вещь стояла между людьми и разделяла их в пыль. Вещь должна быть истреблена.

И вот явился институт изобретений Елпидифора Баклажанова, в котором был сделан первый тип фотоэлектромагнитного резонатора трансформатора: аппарата, превращающего свет солнца, и звезд, и луны в электрический обыкновенный ток. Им был разрешен энергетический вопрос (получение наибольшего количества полезной энергии с наименьшим живым усилием), выражением которого и была вся человеческая история. Вселенная была вновь найдена как купель силы — обитель переменного тока ужасающей мощи.

Влагооборота на земле не было — вода ушла глубоко в грунт и там стояла мертвой. И свет был запряжен в работу: зашуршали мощные центробежные насосы и электромагниты подтягивали воду на поверхность.

Переменное электромагнитное поле невероятного напряжения было пущено в корневые системы растений и, уравнивая поле своего действия в смысле равной его электропроводности, оно вгоняло элементы питания растений из почвы в их тела. Так был изобретен сухой хлеб, и только для некоторых культур еще была нужна влага.

Сам я, кто пишет эти слова, пережил великую эпоху мысли, работы и гибели, и ничего во мне не осталось, кроме ясновидящего сознания, и сердце мое ничего не чувствует, а только качает кровь. Все-таки мне смешно глядеть на прошлые века: как они были сердечны, сантиментальны, литературны и невежественны. Это потому, что людей долго не касалась шершавая спина природы и они не слышали рычания в ее желудке. Люди любили, потели, размножались, и каждый десятый из них был поэт. У нас теперь — ни одного поэта, ни одного любовника и ни единого непонимающего — в этом величии нашей эпохи. Человек теперь говорит редко, но уста его от молчания свежи и слова точны, важны и хрустят. Мы полны уважения и искренности друг к другу, — но не любви: любовь ведет к падению и сознание при любви мутится и становится пахнущей жижкой. Время наше раздавило любовь и не велит родиться ей впредь никогда. Это хорошо, мы живем в важном и строгом месте и делаем трудное дело. Нам некогда улыбаться и касаться друг друга — у нас еле хватает силы видеть, сознавать и переделывать не нами и не для нас сделанный мир.

У меня есть жена, была жена. Она строже и суровее мужчины, ничего нет в ней от так называвшейся женщины — мягкого бесформенного существа. То же видящее, сознающее, обветренное железной пылью машин лицо, та же рука с изуродованными ногтями, что и у нас всех.

Только губы потолще и глаза влажнее, чем у меня. И есть в ней нетерпение и тревога, то еще волнуется материнская сила, не перелитая в мысль. По утрам она обходит электромоторы и насосы, щупает их температуру и по щелканью ремня прикидывает число оборотов. Я стою на площадке резонаторной станции и смотрю на нее: такое существо могли родить только наша бешеная судорожная природа и встречное движение ей жестокого, жестче природы, и прекрасного существа — человека, который решил заменить вселенную собой. Если б ее кто-нибудь вздумал обнять или сделать какой иной подобный исторический жест, она бы не поняла и задумалась о нем.

История человечества есть убийство им природы, и чем меньше природы среди людей, тем человек человечнее, имя его осмысленнее. И в нашу эпоху история достигла экстаза: обнажена душа солнечного света и свет качает воду, делает хлеб в бессильных и пыльных пустынях и им питает мозг человека.

Число растет, вес — этими простыми изобретениями липкая и страстная, чувственная, обваливающаяся земля была превращена в обитель поющих машин, где не стихает музыка мысли, превращенной в вещь, где мир падает водопадом на обнаженное ждущее сознание человека. Каждый прожитый, проработанный час заваливал чугунной плитой ревущую бездну под человеком.

И вот как раз были сделаны в институте Баклажанова машины, гонимые светом. Двигаться по переменному электромагнитному полю очень легко, и если бы не спящий Баклажанов, то световую летательную машину сделал бы я. Вообще это мастерская уже задача, когда свет стал током. Конечно, в этой машине не было никаких пропеллеров, моторов, т. к. она предназначалась для межзвездных дорог, для полей пустого газа.

Обдумав все это, люди решили переехать с земли на другую звезду, а сначала объехать весь звездный рой.

И вот — земля пустая. Ушел человек, и грянули на степи леса, появился зверь и по ночам впивался он, испуганный, молодыми зубами в бетон мастерских, все еще освещенных и

работавших для того, чтобы влага оборачивалась и не стала бы земля песком и льдом. Но в мастерских и на оросительных станциях не было человека, и он там был не нужен.

Отчего ушел человек и оставил землю зверю, растению и неустанной машине? Человек, который так чист и разумен!

Я расскажу. Когда я был молод (это было до катастрофы), я любил девушку и она меня. И вот после долгой любви я почувствовал, что она стала во мне и со мною как рука, как теплота в крови и я вновь одинок и вновь хочу любить, но не женщину, а то, чего я не знаю и не видел — образ смутный и невероятный. Я понял тогда, что любовь (не эта, не ваша любовь) есть тоже работа и завоевание мира. Мы отщепляем любовью от мира куски и соединяем их с собой и вновь хотим соединить еще большее — все сделать собой.

Человечество, сбитое катастрофой в один сверкающий металлический кусок, после годов точной дисциплины, размеренной чеканной разделенной мысли, единой волны сознания, бушующей во всех, — уже не чувствует себя толпой людей, а сросшимся физически ощущаемым телом. И человечество, и зов тоски и влюбленное в мир, ушло искать единства с ним. Но эта человеческая любовь к миру не есть чувство, а раскаленное сознание, видение недоделанного, мятущегося, бесцельного, не человеческого космоса. Человек любит не человеческое, противоречивое ему, — и делает его человеческим.

Почему я остался здесь? Об этом не скажу даже себе. Наши пути с людьми разошлись — теперь два человечества: оно и я. Я работаю над бессмертием и сделаю бессмертие, прежде чем умру, поэтому не умру.

Сейчас вечер. Я прочитал брошюру Баклажанова о природе электричества. Он разгадал его. Несомненно, электричество есть инерция линий тяготения, тяготение же есть уравнение структур элементов. Возмущение же линий тяготений и инерция их от этого происходит от пересечения скрещивания и всяких влияний других линий тяготения.

Баклажанов был бессонный, бессменный на работе чудак, но любили его люди.

Уже ночь. Ни одна звезда не пойдет быстрее, ни одна комета без срока не врежется в сад планет. Какой каменный разум.

Я шел и был спокоен. Познание электричества для сознания то же что была когда-то любовь для сердца.

Чем мы будем? Не знаю. Безымянная сила растет в нас, томит и мучает и взрывается то любовью, то сознанием, то воем черного хаоса и истребления, и страшно и душно мне, я чувствую в жилах тесноту.

Мы запрягли в станки электричество и свет и скоро запряжем в них тяготение, время и свою полыхающую душу.